

**Пантелеймон Александрович
Кулиш
ОТПАДЕНИЕ МАЛОРОССИИ ОТ
ПОЛЬШИ (1340–1654)
ТОМ 1**

Глава I

Соединение Малоруссов с Поляками под одной короной. — В начале перевес русского элемента над польским. — Равнодушие польских панов к римской политике. — Расположенность поляков к русскому элементу. — Как завладели иезуиты общественным воспитанием в Польше. — Как деморализовалось православное духовенство под иноземною властью. — Церковные братства и церковная уния.

Обширную этнографическую область малорусского языка и малорусского обычая делят издавна на Малую Россию, на Белую, Черную и Червонную Русь (иначе Галичину), на Донщину и Черноморщину. Все вместе называют обыкновенно Южным Краем, или Южною Русью, а по языку и характеру народа — Украиною Киевскою,

Слободскою, Волынскою, Подольскою, — землю Донскою, Черноморскою, Галицкою.

Эта область более или менее цельного малорусского языка и обычая заключает в себе плодородные пространства чернозема и песчаные, дающие скудный урожай междолесья; местами переходит она из однообразной равнины в холмистые и байрачистые раздолья, — из высоких степных кряжей в болотистые низины, из безводных степей в лесистые и водянистые *нетры*¹; нередко изобилует лесами и на сухих пространствах. Что касается языка и обычая, то в этой разнообразной области находим всюду того же самого русина, отличенного более или менее скрещением с инородцами и долговременным пребыванием под влиянием их культуры.

Древнейшая, дотатарская, или варяжская Русь, на которой основалась малорусская, как и великорусская, народность, делилась на самоуправляющиеся княжеские республики с вольными вечами и соединялась в один союз, или федерацию, только династиею Рюриковичей, которые, по общественному призыву, княжили в первой русской столице, Киеве, и в подначальных великому князю киевскому городах: Чернигове,

¹ Непроходимые трущобы.

Переяславе, Турове, Полотске, Владимире-Волынском, Перемышле, Галиче и Тмутаракани.

В XIII столетии наш Малорусский край покорил внук завоевательного монгола Чингисхана — Батый, а в начале XIV-го из рук монголо-татарских перешел он в руки литовские. Только часть великого южнорусского займища, так называемая Галицкая, или Червонная Русь (иначе Карпатское Подгорье) продолжала отстаивать свою независимость — с одной стороны от татар, а с другой от поляков; но в 1340 году завоевал ее польский король Казимир Великий, а под конец XIV столетия Литва соединилась с Польшею, по воле своего самодержавного князя Ягелла или Ягайла, которого поляки женили на принцессе Ядвиге, дочери и наследнице своего короля Людовика Венгерского и провозгласили своим королем.

Завоевание Червонной Руси и призвание на польский престол Ягайла привели наших предков к соединению с поляками под одной верховной властью. От этого соединения мы утратили не одну такую черту, которая свидетельствовала о нашем родстве с Великоруссами, и в то же время сделались кой в чем похожи на поляков.

Впрочем корни нашей народной жизни те самые, что и у Руси Северной, впоследствии

прозванной Московскою. Сходство с поляками ограничивается у нас только некоторою примесью со стороны языка и обычая.

В завоеванной Прикарпатской Руси и в соединенной с Польшею Руси Литовской поляки нашли достаточно боевой силы, во-первых, для одоления своего страшного супостата — ордена немецких рыцарей Крестоносцев, по польски Крыжаков, во-вторых, для удаления от своих пределов Москвы и, в-третьих, для запугиванья остатка Золотой Орды, крымских татар. Но эта боевая сила не сознавала достоинства своей национальности в такой степени, чтобы, как это свойственно народу культурному, видеть в своем родном элементе драгоценный завет предков, не подчиняясь чуждому языку и обычаю. Червонную Русь, или Галичину, покорила Польша превосходством военного искусства и государственности; Литва же сама по себе, как нация, была до такой степени груба в своей первобытности, что не имела даже собственной, литовской письменности, а если обнаруживала некоторую образованность в своем домашнем быту и вере, то этим заимствовалась она сперва у тех русичей, которые проникали в её лесистые и болотистые трупы ради торговли или уходили сюда во время татарского лихолетья, а потом у тех, которых великий князь литовский Гедимин привлек

под свою власть или политикою, или оружием.

С того времени, когда Литва превозмогла татарскую силу в Киевщине и неопределенной границами Подолии до самого Черного моря, литовское дворянство пополнялось людьми русскими, сравнительно с Литвою — образованными.

Государственные акты в Литве писались по-русски. Литовские князья и родственники их женились на дочерях обездоленных наших князей, потомков Рюрика. Языком литовского двора, языком высших сановников был наш южнорусский язык. Все это вместе привело к тому, что и самое идолопоклонство литовское отошло на второй план перед русским христианством. В грекославянскую веру крестились не только знатные литвины, но и члены великокняжеского дома. Литва была самобытная нация одним только именем своим. Огромное большинство литовских подданных, людей русских, превосходство русского быта над литовским и необозримое пространство литворусской земли, ознаменованной преданиями христианской церкви и славянской государственности, — все это вместе делало так называемую в Москве «Литовскую Сторону», по существу своему, славянорусскою.

И при всем том русский элемент, в глазах верховных представителей литовского племени, не

выдерживал сравнения с элементом польским.

В эпоху, прозванную татарским лихолетьем, малорусская церковь отособилась от греческой, и перестала заимствоваться от неё просвещением. Осталась она, среди городских развалин и опустелых селищ, без книгохранилищ, без просвещенных и богатых ктиторов. Она проповедовала свою науку в ободранных и полуразрушенных святилищах, проповедовала устами нищего духовенства, среди жалких остатков побитых и разогнанных прихожан. Малорусская церковь не в состоянии была давать о себе высокое понятие даже и тем литвинам, которые обратились в христианство; а между тем в соседнем крае, в Польше, перед язычниками и неофитами открылось католичество во всем внешнем величии своем.

Эта другая вера в того же христианского Бога пришла к недавним врагам Литвы не из Царьграда, который уже и в Ягайлово время теснили турки, а из «Вечного Города», царствовавшего тогда над всей Европой, из столицы наук, искусств и высшей гражданственности. Русская незначительная образованность развила в литовских трущобах умы воинственных дикарей не больше, как настолько, чтобы, сравнивая наше православие с польским католичеством, блестящую веру полновластного римского папы предпочитать потускневшей перед нею вере константинопольского патриарха. Сам

Ягайло, воспитанный в православной обрядности среди своего русского двора, воцарившись в Польше, оставил эту обрядность, крестился в католичество и заставил многих себе подобных принять римское крещение.

Преобразование русского элемента в польский было у нас в начале явлением естественным. Что происходило с литовским языком и обычаем, когда слилась Литва с растоптанною, завоёвонною, разбежавшеюся куда попало Русью, то самое начало делается с языком и обычаем литворусским, когда соединилась Литва с Польшею под одной короною.

Между тем не весьма давно еще было такое время, что русский наш элемент стоял выше польского.

Днепровская и Днестровская Русь, как земля, была и богаче, и разнообразнее Польши. Раскинулась она, в смысле области, шире, нежели вся древняя Польша с своими Прусами. Воевала и торговала она с Византиею, которая во времена оны не до конца еще утратила культурное наследство свое после древних римлян. Все вместе поднимало в ней народный дух высоко, так что и в письменах, и в песнопениях своих, и в самом быту своем с его ремеслами и торговлею первобытный русин превосходил первобытного ляха.

Когда пойдут бывало Рюриковичи войною в

Польскую землю, то возвращаются домой только с пленниками, чтобы населять чужим, а не своим народом дикие поля свои в виду кочующих половцев и печенегов. Когда же вторгались к нам убогие в своей воинственной грубости ляхи, то навьючивали своих коней дивными для них изделиями наших ремесленников; а наша столица, Киев, так ослепляла их неведомыми еще удобствами жизни, что они не хотели возвращаться в свое убогое отечество.

До XVI столетия в Польше не было написано ни одной книги по-польски. Мертвая латынь пересыпалась, точно сухой горох, в головах польских грамотеев, не давая живых ростков; а торговля и война с «Руснаками» вселяли между тем среди поляков русские нравы, русский вкус, шпиговали русским языком и польскую речь, которая, по своей первоначальной формации, далеко не так благозвучна и богата, как наша русская.

Можно сказать, что древние ляхи, в своей закоснелой грубости, воспитывались на русском элементе, подобно тому, как младшие братья, сидя в домашнем захолустье, воспитываются сообществом старших братьев, возмужавших в широкой бывалости.

Когда господствовало еще в Польской земле идолопоклонство, христианская вера пришла туда

прежде всего из Моравии; священное писание преподано ляхам первоначально на том славянском языке, который приняли уже в своей церкви русичи, и в начале поляки крестились по обряду церкви греческой. Даже облатинивши в последствии свои храмы, ляхи звали их до XV столетия по-русски церквами (cerkwie).

В одном из краковских костелов богослужение совершалось по-польски еще в начале XVI века; а фрески святых со славянскими надписями на стенах окатоличенных церквей в Кракове и Казимирже оставались не замалеванными до последнего времени.

Религиозное единство с нами поляков открывало им тот самый, что и нам, путь исторической жизни. Но вслед за славянскими апостолами веры пришли к надвисляннам апостолы латинские, пренебрегли проповеданное уже на Висле христианство, уничижили его вторичным крещением и началам умственного развития ляхов дали направление римское.

Разлившись бурно и широко, монголо-татарская сила остановилась в Кракове. Потрясла она и Польшу, но Польша устояла на своем основании; и между тем как на Днепре погибли плоды дотатарской культуры, край Привислянский развивался без остановки, под влиянием западных наций. Близкое знакомство с

этими нациями дало Польше великий перевес над присоединенною к ней двояким способом Русью. Обладатели Русской земли, сатрапы, неграмотного деспота, литвина, до того закоснели под его властью, что когда великий князь литовский сделался польским королем и свел их с новыми своими подданными, польские «дуки» показались им недостижимо бывальными, в общежитии дивно искусными, в грамотности зело премудрыми.

Окрещенные с литвинами русичи, в свою очередь, стали тогда смотреть на ляхов, как смотрят из родного захолустья меньшие братья на старших. Начали они уподобляться вельможным польским людям в их быту и поступках. Шлифуясь в обществе именитых ляхов, теряли свою шероховатость, и естественно чувствовали благодарность к соседям за ласковое руководство во всем, что те перенимали у народов цивилизованных. Они с поляками дружились почтительно, а скрещиваясь родовой кровью, смотрели на свое родство и свойство с польскими домами, как на высокую честь, гордились иноземными взглядами на вещи, как отличием от людей отсталых, невежественных. Во времена оны представители польской общественности брали себе за образец ошлифованного по-византийски русича с его сравнительно утонченным языком и обычаем.

Теперь потомки этого русича подчинялись просвещенному по-римски ляху в своем единении с ним по государственным, общественным и домашним делам. Таким образом наш гражданский и домашний быт, наши воззрения, вкусы и симпатии были уже издавна в высших кругах те самые, что и у поляков.

Подобно тому, как, в отдаленную эпоху восточной проповеди христианства на берегах Вислы, ляхам, по всем видимостям предстояло идти тою же историческою дорогою, что и киевским полянам, с их русскими родичами, — потомкам киевских полян, а с ними и всем польско-литовским русичам, открылся теперь путь вечного единства их судеб с судьбами племени польского. Но вышло иначе, и именно по той причине, что паны ляхи чересчур уже близко привлекли к себе сановных представителей нашей Руси. Не помогло тут панам ляхам единство веры, обычаев и фамильной политики с панами русичами, — напротив, оно им повредило. Польша потому и не устояла на русской почве, что разлучила наших малорусских панов с малорусским простонародьем, — разлучила просвещенных представителей нации с темною массою нации.

Главным двигателем несчастного для обеих сторон единения наших панов с панами ляхами была завоевательная политика римской церкви.

Папские нунции, или духовные послы, резидуя один за другим в Польше при королевском дворе, постоянно заботились о том, как бы в польско-литовской Руси водворить латинство. Но в течение трех столетий, от Владислава Ягайла до Сигизмунда Вазы, ревнители католичества обратили в свою веру одних наших магнатов с их служилою шляхтою, и то далеко не всех. Низшие классы в Малороссии были как-то недоступны для латинской проповеди, кроме тех виленских, львовских и люблинских мещан, которые перенимали от шляхты панские обычаи и поддавались внушениям вельможных людей ради своих торговых интересов ².

Такую медленность в работе, которую только и дышала Римская Курия, объясняют нам, во-первых, известные политические действия московского самодержца Иоанна III, относительно Литвы Польши, а во-вторых, два страшные для папистов явления в Западной Европе.

С начала XV столетия чехи провозгласили

² О городельском декрете 1413 года, воспрещавшем православным занимать высшие государственные и общественные должности и о последствиях этого декрета не для чего распространяться, так как он оставался мертвою буквою уже и при Казимире Ягайловиче.

свободу религиозной совести устами Гуса, а с начала XVI-го — немцы обновили науку чешских гуситов от имени Лютера.

Хотя паписты сожгли Гуса живым, а последователей его науки придавили военной силою, но высказанная Гусом всенародно правда не переставала обнаруживать неправду римской церкви, и пробралась из ученой Германии даже в сравнительно невежественную Польшу. Опасно стало тогда римским агентам возбуждать против себя негодование русских людей в Польше: боялись поддержать этим гуситскую проповедь в среде самих католиков. Поэтому все принуждения, прикрытые королевским и державным панским правом, были отложены до удобнейшего времени. Распространяли католичество только домашнею проповедью, заохочивая можновладников к иноверству королевскими милостями. То же самое должны были делать и после того, когда чешское свободомыслие обновили немецкие богословы. Перестали делать покушения на церковные имущества православников; боялись утратить приобретения и католической церкви в Польше. Протестанты множились тут очень быстро и подавали руку православникам для совместной борьбы против приверженцев римского папы. Взаимное отрицание старой и новой веры в Бога привело поляков даже к безбожию. При

Сигизмунде Старом, один благочестивый католик доносил в Рим о польских протестантах так: «Наш двор чтит Бога настолько, насколько это не обижает дьявола. Здесь отвержение Христа — похвальное дело». Польские сеймики собирались тогда обыкновенно в костелах и церквах, где, по словам того же католика, шум, брань и кровопролитие были явлениями заурядными.

При таких обстоятельствах мудрено было римскому католичеству распространяться в Польше на счет греческого православия. Но всего больше останавливало латинскую проповедь среди нашей Руси то, что поляки не слишком сильно заботились о завоевательной политике римской церкви. В нравах и обычаях польской шляхты столько было чувства личной свободы, что она, в своей общности, взирала с негодованием на всяческие принуждения к католичеству, которые агенты Римской Курии обыкновенно внушали королям и сенаторам. Пропаганда католичества в малорусском населении Польши велась только путем просвещения, которое сосредоточивалось тогда в представителях римской церкви, и естественно привлекало к ней тех русичей, которых воспитывало духовенство католическое.

Что же до поляков, то они сами по себе, как поляки, и в том числе даже церковные сановники, близкие родичи вельможных домов, не имели

преднамеренных стремлений к подавлению русской народности, опиравшейся на предковскую веру. Напротив, очутясь игрою случайностей среди чистой *Русчины*, коренной лях, кто б ни был он, скоро начинал сам русеть, привыкал к малорусскому языку и православному обычаю, поддавался поэзии нашего слова, нашей песни, нашей русской природе. Даже католические бискупы, живя в Киевщине, уже во время обнародования церковной унии (1596), не имели ничего общего с иезуитскими замыслами, и, спустя десятилетие после этого события, еще молились чудотворному образу в Киево-печерской лавре о своих личных нуждах, среди богомольцев православных.

Не должно забывать давнишней вражды русина с ляхом, о которой цистерианский монах Кадлубек, в XI веке, писал, что эту «закоренелую» вражду русин погашал в себе только польскою кровью. Но, зная себя, каковы мы теперь, и помня, каковы были наши малорусские предки в дотатарское и в послетатарское время, мы должны признать, что эта закоренелая вражда получала свое начало больше в русском, нежели в польском сердце.

И в любви, и в ненависти мы, по своей природе, были глубже ляха. Это свидетельствуют нам с одинаковою выразительностью и наши

монахи-аскеты, и наши казаки разбойники. Аскетизма не было вовсе в польском характере, а в разбойных своих подвигах никогда поляки не доходили до такого кровавого энтузиазма, как наши малорусские предки. Любя Бога и ближнего, мы делались молчальниками, пещерными затворниками, добровольными мучениками, а любя Бога и ненавдя своего врага, мы окунались в человеческую кровь по шею, мы не знали границ своей лютости.

Не так щедро, как нас, малороссов, одарила природа нашего соседа, ляха, и поэтому в польских монастырях не было аскетов, а польские разбойники, сравнительно с нашими, были, можно сказать, только забияки. Что же касается ляшеских злодейств, описанных в наших вымышленных сказаниях, то здесь мы творили мнимых и действительных врагов своих по внутреннему своему образу и по подобию. На горе нам и родственным с нами по племени соседям, наши малорусские сердца дышали жаждою правды; но наше невежество, наша варварская логика относительно посягательства на чужое, наша беспорядочная, дикая свобода, которой мы домогались, не имея в виду никакого лучшего счастья, — делали нас гениями зла, которые ужасали своих несчастных современников и изумляют свое мыслящее потомство. Свирепая

наша мстительность, не знавшая ни меры, ни пощады, не отличавшая малой неправды от великой, мнимой обиды от действительной, успокаивалась только тогда, когда исчезал на земле и самый след обидчика.

Совсем иной был склад и ума и сердца польского. По своей природе, поляк, не скрещенный с представителями Руси, был так мягок в сравнении с угрюмым и жестоким русином, что его можно было бы принять за незлобного в своей неопытности отрока. В характере поляка было много, так сказать, женского легковерия. Веселый и доверчивый, он часто забывал не только тяжкие обиды, но и такие злодейства, от которых оставались кровавые следы на пороге его дома. Не один случай подобного забвения мы знаем документально, и по таким случаям заключаем, как польское сердце билось в отдаленную старину, о которой вспоминает летописец Кадлубек. Не было нашей глубины у златовласого, светлоокого нашего соседа, ляха. Не было у него даже и той бездушной глубины, которую выработали себе веками господства просветители Польши, римляне, эти жестокосердые соперники поэтических греков, эти беспощадные поработители классического мира, которых ни великий наплыв завоевательных варваров, ни великая революция религии и философии не остановили в их наследственном

стремлении к порабощению вселенной. Поляк, пожалуй, покорялся своим латинским пастырям, когда они твердили ему о пожертвовании имуществом на «увеличение хвалы Господней», или накладывали на него покаянное искупление. Но ясная, созданная для тихого счастья, душа его с трудом поддавалась шепоту фанатизма, который насилдование чужой совести представлял наибольшею заслугой перед Богом. Только при королевском дворе иногда существовала ненасытимая владычеством римская факция. Только темные креатуры влиятельных римских проходимцев труждались в Польше по примеру тех, которые, тесня до самого края свободу мысли и совести, довели Европу до многолетних войн под знаменами веры. Но ни одного громкого польского имени не вписала история в число вождей поработительной политики папы, ни один гениальный поляк в XV, XVI и XVII веках не подал голоса за религиозную нетерпимость. Ляха, достойного стоять в ряду героев человечности, можно было запутать в политические мрежи Римской Курии, но он тотчас возвращался к своим природным чувствам, лишь только эти мрежи рвались от собственной своей ловитвы. Бесхитростный славянин, любитель домашних забот и мирной жизни, привязанный к своему уголку, к своему родному полю, он редко покидал

наследственный плуг для боевой жизни. Но и воюя с соседями, не чуждался поляк дружеских связей с ними, по старопольскому обычаю. Таковы были его войны с немцами, Литвою, Москвою и даже с турками. Наша завязтая Русь не вселяла в польскую душу непримиримой вражды и тогда, когда воспитала на своем диком лоне таких рыцарей, которые знали одну только форму и одну только цель борьбы — истребление ляхвы «до ноги». Благоволение к иностранцам было слабостью и блажью у польской шляхты, а шляхетское чувство свободы развилось у поляка до такого великодушия, что, будучи сам искренним католиком, нередко стоял он грудью за иноверцев, которых католики теснили во имя своей церкви.

В XVI столетии, до Люблинской гражданской унии, коренные поляки не имели права приобретать землю в Литовской Руси. Но часто случалось, что польский пришлец женился на маетной русинке, и этим способом делался землевладельцем среди туземцев. Такие люди, воспитанные в католичестве, не только не завоевывали у нас ничего для своей церкви, но и сами крестили детей своих у русских наших попов, делая таким образом свой польский род православным. Здесь, как мы видим, католичество таяло само собою, тогда как вблизи Вислы, например в Люблинской Холмщине, так точно таяло православие; только здесь наши попы

были равнодушны к тому, чтобы привлечь ляха к своей вере, а там попы латинские пользовались всяким случаем, чтобы дом русский обратить в польский, то есть в католический. Помогало латинским попам и королевское правительство. Но то правительство, которое, независимо от короля, составлялось из «земских послов», не только не хотело знать церковной римской политики, но и само восставало против католического своего духовенства за увеличение церковных имуществ посредством духовных завещаний и других записей.

Когда же наконец, в 1569 году, состоялась в Люблине гражданская уния, и земские права у обоих народов сделались одинаковы, коренные Полонусы начали переселяться к нам на хозяйство, как в страну плодородную, но малолюдную. Казалось бы, с этого времени католики, как люди, ознакомленные с просвещенною Европою, должны были подавить у нас православие, державшееся, без наук, одними обрядами да преданиями. Нет, переселенцы не принесли к нам той систематической пропаганды латинства, которою католическое духовенство отличалось и в Холмщине и всюду в малорусских областях, где оно уже вкоренилось. Это были люди воинственные, но вовсе не богословы. Беззаботность их относительно соперничества двух

вероисповеданий была такова, что даже начала было тревожить церковные власти в католической Польше. Чтобы защитить господствующее вероисповедание от неумышленного вторжения в него нашего православия, королевские власти прибегли наконец к репрессии, и король Стефан Баторий, по просьбе примаса, универсалом своим повелел, чтобы наше духовенство не крестило детей в католических домах на Волыни, под страхом весьма значительной денежной пени.

Дело стояло так: наша простая, первобытная общественность не привлекала к нам католического духовенства, воспитывавшегося в краях цивилизованных и привычного к общению с людьми культурными. Католические епископии, основанные Римскою Куриею в нашей Руси, существовали, можно сказать, только по имени, а хоть знатные паны-католики и держали при себе капелланов, то этим капелланам, при тогдашнем бездорожье и раскиданности населенных мест в Малороссии, трудно было ездить для крещения детей, хотя бы их о том и просили. Королевский универсал не переменял ни природы вещей, ни обстоятельств, и поэтому в нашей пустынной стране православие распространялось в семьях католических, а не католичество — в православных.

Только с того времени, когда в Польше водворились иезуиты, католичество из центров

польщизны начало растекаться по русским воеводствам последовательно и поступательно. Только с этого же времени и со стороны нашей Руси выступили силы, остановившие завоевательную римскую политику.

Полумонашеский и полусветский орден иезуитов утвердился в Польше при втором избирательном короле, Стефане Батории. Он был послан сюда Римскою Куриею для противодействия церковной реформации, и, вслед за тем, как протестанты, под покровом шляхетской свободы, начали присоединять к своим «зборам» многих духовных и светских людей в Польше, иезуиты, пользуясь той же свободою, принялись отстаивать древнее приобретение Римской Курии против новаторов.

Новаторами по предмету вероучения были в Польше и в польской Руси члены великих панских домов, воспитанные за границею. Там они видали, как с одной стороны паписты подавляли свободу совести, и как с другой стороны люди вольные, никогда ни к чему не принуждаемые, отдавали все свои симпатии церковным либералам. Следуя примеру последних, горячо проповедовали они новую науку веры со слов Лютера и Кальвина, а будучи в дедичных владениях своих такими же государями, каким Стефан Баторий был в коронных и литовских королевщинах, обращали в

молитвенные дома, называвшиеся зборами, не одни католические костелы, но и православные церкви. Иезуиты, придя к нам сперва в Белую и Червонную Русь по следам протестантов, старались предвосхитить у них русскую паству, как бы церковный ясыр и нашли себе могущественного помощника в особе самого короля.

Родной край Стефана Батория, Седмиград, или Трансильвания, был самым безопасным убежищем религиозного вольнодумства, встревожившего все западные правительства в XVI веке. По своему воспитанию, Баторий пренебрегал католическим догматизмом; но, сделавшись королем польским, должен был приноравливаться к религиозному взгляду «шляхетского народа». Не восставая против разнoverия, он все-таки стоял на стороне господствующей в Польше веры и, в её интересах, содействовал всякому законному предприятию своих подданных. Согласно с такою политикою, помогал он и иезуитам распространять латинскую проповедь, не только к ущербу немецкого нововерства, но и ко вреду древней греческой религии, которая водворилась было в Польше раньше латинства. Этим способом наша малорусская церковь, надруйнованная уже папистами, подверглась новому руйнованью, как со стороны фанатических пионеров нововерства, так и со стороны энергических его противников.

И разум, и совесть оправдывали короля Стефана в том покровительстве, которое он оказывал иезуитам во вред православию. Не говоря уже о государственной политике, которая велела ему сообразоваться с видами римского папы, — на латинство смотрел он, как на такую веру, которая распространяет в народе просвещение, тогда как вероучение греческое было в его глазах проповедью закоснелости, вместе и бесплодной, и вредной для умственной деятельности.

В самом деле, среди наших православников редко встречался тогда человек образованный, между тем как польско-русские паписты своею бывалостью и ученостью стояли иногда наравне с просвещенными немцами, французами, даже итальянцами. Иезуиты же именно тем и славились, что «хорошо» воспитывали молодежь, и начали свою работу в Польше основанием нескольких образцовых школ.

Тогда было еще рано уразуметь, что иезуитская наука стремилась не к тому, чтобы возбуждать человеческий дух к свободной деятельности, а к тому, чтобы в области знания поддерживать авторитет римской церкви. Притом же иезуиты усыпили осторожность лучших людей в Польше и в польской Руси кажущимся бескорыстием своего ордена, который подвизался для общественной пользы, довольствуясь одною

щедростью своих покровителей и приверженцев. Иезуитские коллегии, или гимназии высших наук, вместо плодотворной образованности, давали своим питомцам обольстительную, но бесполезную умственную роскошь, а между тем формировали их способности так, что, выйдя в свет, блестящие молодые люди не имели силы первенствовать в своем обществе, и делались орудиями коноводов его, иезуитов.

Баторию некогда было углубляться в метод и направление иезуитской педагогики. В течение десятилетнего царствования своего (1576–1586) он слишком сильно был озабочен военными и политическими делами. Он сделал, или лучше сказать — помог сделать польскому обществу ошибку, вредоносные последствия которой проявились только в третьем поколении его подданных.

На беду шляхетскому народу, прославленный Баторием престол тридцать шесть лет занимал такой король, который не имел ни его ума, ни его твердого характера. То был Сигизмунд III, слепой приверженец римского папы, бессмысленный покровитель и слуга иезуитов.

Баторий отдал иезуитам почти все имущества Полотского владычества, или епископии, основываясь на том, что Полотскую землю сам он отвоевал у Москвы, поэтому-то и право «подаванья

хлебов духовных» (jus patronatus) принадлежало не кому иному, как завоевателю. Но, передавая церкви и монастыри из православных рук в католические, он объявил панам полочанам, что отречется от права подаванья, если они документами докажут, что церкви или монастыри основаны и уфундованы их предками. Сигизмунд орудовал подаваньем духовного хлеба, не обращая внимания и на самые документы, а так как фундушевые записи погибали в домашних усобицах, пожарах и т. п., то иезуиты пользовались такими случаями, подобно судебным кляузникам, — изобретали казусы к тяжбам, подучивали латинцев к захвату церковных имуществ и, имея на своей стороне короля с его грамотами, умножали имущества католической церкви на счет православной.

Да и без казуистики, без передачи достояния малорусской церкви в руки слугителей польской, Сигизмунд III подрывал весьма чувствительно «древнее русское благочестие», как величали мы свою веру относительно протестантов с одной стороны и папистов с другой. Титулуясь верховным подавателем духовных столиц и хлебов, он весьма часто раздавал православные владычества и архимандрии людям светским; а эти люди, принявши духовный сан, жили в монастырях панами и смотрели на подвластных попов и чернецов так, как смотрел мытник на мытницу,

торговец на «крамную комору», арендатор на аренду.

Под патронатом чужеземных королей церковь наша теряла свое достоинство со времен Ягайла. В царствование Сигизмунда III подавание духовных столиц и хлебов рукою подкупною и иезуитски лукавою довело ее до последнего упадка. На апостольских седалищах восседали в ней не только книжники и фарисеи, но даже неграмотные мытари и грешники.

Между тем энергические строители единой, как говорили паписты, спасающей, истинно вселенской церкви, иезуиты, втирались в наши панские дома в виде врачей, юристов, наставников молодежи и приятных собеседников. Не любя никого вне интересов католичества, и не видя ничего достойного уважения ни в какой вере, кроме римской, эти религиозные пройдохи умели внушать к себе привязанность и уважение даже в таких малорусских кружках, которые называли римского папу антихристом.

Появились они в русских провинциях Польши, как уже сказано, вслед за тем, когда Лютерова и Кальвинова наука веры, путем шляхетской вольности, пришла к нам из Германии вместе с молодыми людьми, которые искали за границу не только самого просвещения, но и искусства общежития. Иезуиты были не что иное,

как отлично дисциплинированные фаланги, которые папа посылал в Польшу вытеснять церковное вольнодумство из его позиций и учить общество католической нравственности.

Товарищи (braciszki) Иисуса, «ангелы и духи» Христова наместника, иезуиты приспособлялись ко всякому порядку и беспорядку панской жизни. Они дружились одинаково и с самыми веселыми, и с самыми мрачными характерами. Даже там, где иезуита открыто презирали, не отказывался он от своей преданности магнату.

Прикрываясь личиною христианского смирения, терпел товарищ Иисуса сарказмы знатных и незнатных людей, лишь бы не лишиться своего места между панскими собеседниками. Когда же притворная покорность не останавливала иного яркого последователя Лютера, Кальвина и самого Ария, иезуит лучше всех умел принять на себя спокойный вид умственного превосходства. Перед глазами у отцов кощунников, смиренные и вместе высокомерные тунеядцы приобретали себе почитателей между их детьми. Знали они, как бьется неопытное сердце, когда перед ним оскорбляют высокую добродетель вместе с глубокою ученостью, и тайно от света уловляли впечатлительные души не только в полуграмотных православных семьях, но и в протестантских, вооруженных заграничным просвещением.

Иезуиты рассчитывали разом и на высшие и на низшие свойства человеческой природы. К строгости христианских правил присоединяли они якобы христианскую снисходительность к слабостям ближнего. Они налагали на молодых своих питомцев иго слепого послушания высшим велениям церкви, и услаждали это иго потачками тайным удовольствиям. С лицемерною кротостию мудрости разрешали они своих юных друзей не только от старопольского целомудрия, но и от рыцарской честности.

Этим путем дальновидные наставники входили в тесные с ними связи, делались их товарищами в предосудительных поступках, их руководителями на поприще житейской политики, и навсегда обеспечивали себя помощниками в клерикальных интригах.

Если этим способом удавалось иезуитам привлечь на лоно римской церкви наследника древнего русского дома, то под их дружеским руководством, он радел этой церкви в своих маетностях так точно, как Сигизмунд Ваза — в своих королевщинах.

Плененный в послушание спасающей веры, вельможный пан естественно подавал духовные хлебы своего патроната или римским католикам, или таким православным людям, которые не были способны поддерживать нашу церковь, напротив,

своим беспутством помогали разорять ее.

Низшая шляхта, панские мещане и мужики, кто добровольно, а кто и по принуждению, приставали к вере своего пана. Бывали такие парафии и архимандрии, в которых наследственное ктиторство, именуемое патронатом, принадлежало не одному, а нескольким дедичам. Тут иезуиты, или их орудия, местные ксендзы, старались обратить в русскую веру тех патронов, чьи предки больше других участвовали в фондации, а успевши в этом, подавали их руками королю просьбу, и король, «снисходя к благочестивому желанию достойнейших представителей веры», отдавал церковь или монастырь с их имуществами под власть католического бискупа.

Это была старинная, еще доиезуитская практика римской пропаганды. Иезуиты только обновили и подкрепили крестовые походы своего папы против Руси, которые остановили было чешские и немецкие нововерцы. Но они не делали ничего крикливого, слишком уже громко вопиющего и кровавого. Наибольшее насилие, которое позволяли себе эти апостолы Христова наместника, заключалось в науськивании школьников и поджигании городских «гультаев» к поруганию иноверного духовества, к осмеянию иноверных процессий и обрядов, к грабежу «еретических» и «схизматических» святыниц. Но

то были случаи особенные. Они шли в тон с обычным в те времена буйством не только между двумя враждебными верами, но и между единоверцами. Вообще, дело иезуитской проповеди велось так тихо, и вожаки церковного завоевания держали себя так миролюбиво, что на поверхностный взгляд казалось, будто в Польше нет никакого наступания на малорусскую церковь, и как будто польская Русь католичится сама собою.

Что касается Сигизмунда III, то он всего больше помогал иезуитской работе тем, что панам не католикам не давал, за редкими исключениями, никаких дигнитарств, которых у него в руках, вместе с церковными бенефициями, было больше двадцати тысяч. Как ни ограничили паны королевскую власть в своей Речи Посполитой; но это был двигатель могущественный: ибо русско-польские магнаты, говоря о них вообще, без королевских милостей, не могли обставлять свои дома так, как того требовала политика их обществуности. Королевские наперсники, клерикалы, рассчитывали тут безошибочно. Сигизмунд Ваза, заставши в числе литовских, то есть малорусских, сенаторов только двух или трех католиков, под конец своего царствования имел удовольствие видеть, что все сенаторские «лавицы» занимали там католики, кроме двух или трех мест, на которых сидели иноверцы. То же самое надобно

разуметь и о прочих дигнитарствах.

Таким образом наши малорусские дома, посредством перемены веры, превращались в польские; право наследственного патроната, вместо православного духовенства, распространяли они на католическое; оставляя ветхие церкви без починки, воздвигали великолепные костелы, и в те костелы переводили фундуши, пожертвованные их предками «на хвалу Божию по греческому обряду». Все это действовало губительно на наше духовенство. Утрачивая со времен Ягайла одно церковное имущество за другим, и пополняя персонал иерархов не пастырями душ, а мытарями и грешниками, малорусская церковь клонилась теперь к падению быстрее, нежели когда-либо. К убожеству духовенства естественно присоединилось невежество, а вместе с невежеством вкоренялись грубые нравы и привычки. Этот нравственный упадок, в свою очередь, отвращал знатных людей от отеческой веры, и тем скорее привлекал их к переходу на лоно римской церкви, или же направлял к нововерству; а нововерство, выработанное жизнью чуждою, не поднимало в нас чувства русской национальности из его упадка.

Один только Киево-печерский монастырь, который мы справедливо титуловали царствующею Лаврою, был у нас крупною хозяйственною

единицею среди обрезанных или утраченных церковных имуществ. Чем больше древних малорусских домов отпадало — то в католичество, то в протестантство, — тем малочисленнее и скуднее становились наши церковные имущества, сравнительно с иноверческими; а между тем в личный состав церковной иерархии внедрялось такое зло, которое соответствовало отступничеству малорусских панов и невежеству тех, кому предоставлялась роль охранителей родной национальности.

Наши владычества и архимандрии, как это видно уже из предыдущего повествования, доставались не тем, кто сумел бы лучше строить в малорусской церкви, а тем, за кого было больше ходатаев перед иноверным королем, верховным подавателем духовных столиц и хлебов. Покупка у короля церковных дигнитарств вошла в обычай со времен Ягайла. Сохранились даже письменные обязательства уплатить королю условленную цену владычества деньгами и волами.

Этим способом, еще при жизни митрополита, владык и архимандритов, места их продавались в Кракове и в Варшаве, точно на рынке. Покупали духовные столицы и духовные хлебы почти исключительно сановники светские, вовсе не приготовленные к исполнению новых обязанностей. Управляя церковными делами,

покупщики долго титуловались нареченными владыками или архимандритами: принять иночество обязывались они только для вида; но, покамест, жили в монастырях с женами и детьми, со слугами, охотничьими собаками и всеми панскими забавами, а в случае ссоры с соседями за село или за уголья, хаживали на своих противников по-пански войною, если же противник был человек духовный, то владыка ходил войною на владыку, архимандрит брал приступом церковь и монастырь у архимандрита. Не останавливало их ни в чем общество, отуманенное в разумении церкви и веры, если не латинством, то протестанством и злоупотреблениями, как продавцов, так и покупателей духовного сана. В виду поруганных святыниц, владельцы их распутничали, святотатствовали и разбойничали безнаказанно; на подначальное им низшее духовенство смотрели, как откупщики, имеющие в виду одни доходы, и естественно были беззаботны относительно просвещения этого духовенства, относительно достоинства жизни его.

В таком замешательстве малорусской церкви, городские и сельские попы все меньше и меньше делались тем, чем надлежало им быть, обращали спасительное дело церкви в простое ремесло, а невежество их было таково, что иногда они читали в церквях подсунутую им книгу светского новатора,

как творение святых отцов, часто бывали неграмотны вовсе, а еще чаще делались постоянными посетителями кабаков, забывая о церкви.

Купля и продажа хлебов духовных начались у нас, по всей вероятности, еще во времена татарского владычества. При Сигизмунде III они принесли свои вредные плоды. Верховная власть константинопольского патриарха над нашею церковью существовала только по имени. Подавленные своими иерархическими смутами под мусульманским верховенством, восточные патриархи не появлялись в нашем пустынном крае лично, затруднялись даже присылать к нам своих уполномоченных.

Некому было входить в положение церковных дел, не к кому было обращаться с жалобами на повсеместные злоупотребления духовным саном. Наше малорусское православие, наше «древнее русское благочестие» в Польше представляло опустошенные, падающие в развалины церкви, возмутительный быт духовенства высшего, невежество, убожество и беззаботность о церкви низшего, наконец, как это естественно, упадок доброй нравственности у мирян всякого состояния, от магната до хлебороба. В народной массе водворился разврат, которому изумлялись даже иноземные наблюдатели. Хранительные узы

родства, семьи и женской стыдливости до того ослабели тогда в нашем простонародье, что, казалось, будто бы в нем исчезла всякая совесть.

Лучшие между нами люди, видя, что так называемое благочестие не заключало в себе ничего спасительного, начали искать спасения общественной нравственности за пределами восточного патриархата, и разделились в своих замыслах на две партии.

Одни, наслушавшись немецких нововерцев, склонялись к тому, чтоб отречься преданий родной старины церковной, а другие, видя сравнительно порядочную жизнь католиков, готовы были признать главенство римского папы и соединить национальную церковь с латинскою. Греческая вера, казалось, падала в Малороссии сама собою, как несостоятельная. Некоторые надеялись еще, что ее поддержит в её упадке богатый, славный и приверженный к православию дом князей Острожских. Но могущественные паны Острожские одной рукой поддерживали предковскую церковь, а другою подрывали.

Они были потомки Изяслава, и происходили от туровско-пинских Рюриковичей.

Новые после татар обладатели нашей Русской земли, литвины оставили за Острожскими, как и за другими князьями, некоторые из их древних прав, и приниженным Рюриковичам было так хорошо под

Гедиминовичами, что они больше коренной Литвы противились Ягайловскому соединению Великого Литовского Княжества с Польскою Короною. Когда Ягайло сидел уже на королевском престоле, и тогда еще они, заодно с его братьями, пытались отделить от Польши Литву. По смерти Ягайла, князь Василий Федорович Острожский отговаривал литовского великого князя Казимира Ягайловича принимать отцовскую корону, а когда это ему не удалось, он вступился за литовское право и домогался, чтобы Польша считала Литву не подначальною, а равною себе державою, и возвратила бы ей Лопатин, Бельз, Подолию и другие земли, которые при Ягайле захватила под свою юрисдикцию.

Знаменем спора литовских патриотов с польскими обыкновенно выставлялась русская церковь, у которой Римская курия отнимала постоянно один духовный хлеб за другим. Чем больше латинская церковь выманивала у короля русских бенефиций, тем громче приверженцы Литвы отзывались за обиженную церковь малорусскую. Папские нунции старались между тем разъединить православных русских вельмож. По смерти князя Василия Федоровича, им удалось раздвоить и самый дом Острожских. Младшая линия этого дома, титуловавшаяся князьями Заславскими, искусилась какими-то личными

интересами, и перешла в католичество. Но зато старшая, которой представителем был князь Константин Иванович, еще больше возревновала о русском благочестии предков своих. Напрасны были все происки римских политиков, направляемых легатом Пизоном. Не отклонялся Константин Иванович ни в каком обряде от родной веры, созидал храмы, поддерживал древние монастыри и защищал всех, кого теснили паписты. Папский легат Пизон всю надежду свою окатоличить Малороссию возлагал на привлечение князя Константина к римской вере, но его чаяние было напрасным.

И в самом деле стойкость Константина Ивановича Острожского значила много для нашей Руси, уже поколебленной в своей национальности. Будучи обладателем громадных имений, явился он и великим воином. От конца XV столетия до 30-х годов XVI-го, князь Константин, титулуясь литовским гетманом, охранял границы королевства от Москвы, татар и волохов так могущественно, что король Сигизмунд I устраивал ему триумфальные въезды в Вильно и в Киев, чего никогда еще не бывало.

Под его начальством и руководством образовалось первое известное в истории днепровское казачество, заслужившее у современников славу «великих и безупречных

Геркулесов», — казачество шляхетское, в котором гетманили герои паны и князя, как об этом будет у нас речь ниже. Он оставил по себе наилучшую память в обществе польских и русских рыцарей. Был он храбрейшим между своими сподвижниками и справедливейшим в дележе военной добычи. С пленниками обходился по-христиански; давал к себе доступ самому мелкому просителю, и награждал заслуги своих соратников так щедро, как никто.

И было у него довольно средств для такой щедрости. Наследственные владения свои увеличил он брачным союзом с двумя древними малорусскими домами. Он был женат сперва на Татьяне, единственной дочери Симеона Олельковича, князя Ольшанского, и Настасии, княгини Збаражской, а в другой раз — на Александре, дочери Симеона, князя Слуцкого. Сигизмунд I пожаловал ему староства Брацлавское, Винницкое и Луцкое, каштелянство Виленское, воеводство Троцкое. Кроме того, он был маршалом земли Волынской, а за оборону литовских границ получил от Сигизмундова предшественника короля Александра, замок Дубно.

По смерти Константина Ивановича (1533), два сына его, Илья и Константин-Василий, одним тем, что назывались князьями Острожскими, поднимали национальный дух Южной Руси. Их дом был

устоем и средоточием того, что уцелело от религиозного и племенного нашего единства с Русью Северною, со времен татарского владычества. Но недолго жил после отца старший брат, Илья.

Представителем широко прославленного дома остался один только князь Острожский, Константин II, иначе князь Василий, и было ему тогда всего шестнадцать лет.

Не удивительно, что молодой магнат внимал и давал веру не столько тому, кто говорил правдиво, сколько тому, кто говорил убедительно. Распространившаяся тогда мода нововерства не миновала доверчивого юноши. Но противникам новаторов, римлянам, не трудно было дискредитировать у него так называемую немецкую науку веры в пользу грандиозной церкви, которой первосвященником был не патриарх, подвластный неверному турку, а государь государей, земной наместник небесного царя. Вообще, кто раз отпадал у нас на Руси от древней греческой церкви, тот уже не возвращался к ней искренно, потому что католики, опровергая нововерство, тем самым обнаруживали мрак, лежавший над восточным вероучением, и «грубиянство», отличавшее наших духовных. Так было и с юным князем Острожским. В 1550 году женили его на дочери католика, коронного гетмана Тарновского, и этим актом

сделали то, что дом Острожских, который был для Римской курии «вратами адовыми», сделался для неё вратами райскими. В эти ворота, отворенные, как увидим, через полвека с небольшим настежь, все владения и клиенты князей Острожских, так точно как и Заславских, из-под власти православных перешли под власть католиков.

Князь Константин-Василий Константинович, которого наши историки изображают «святопамятным», как и современные панегиристы, был именно тот, кто отворил настежь католичеству наши последние оборонные ворота на гибель Польши и его собственного дома с нею. Первородный сын его, Януш, унаследовавший все его владения, по новейшим польским исследованиям, *społszszał, jeszcze w kolebce*³, так как вместе с католичкою Тарновскою, в православный дом князя Василия перешел и духовник её, известный апостол католичества в Малороссии, иезуит Петр Скарга.

Между тем православникам казалось, что сын знаменитого литовского гетмана стоит на страже древнерусской церкви и не такого закала была эта личность.

Славный отец приготовил князю Василию

³ Ополячился еще в колыбели.

влиятельное положение среди możновладников, но он пользовался своими преимуществами, как эгоист. Еще при Сигизмунде Августе сочетал он, из корыстных видов, насильственным браком с князем Сангушком сироту и наследницу своего брата Ильи, опекуном которой был сам король.

Князь Василий был так могуществен, что его не решились даже попрекнуть самовольством; но для обороны своего зятя, погибшего смертью банита от руки своих врагов, не сделал он ни малейшего шага. Стефан Баторий титуловал его *ясно вельможным*, что значило много в старой Польше, тогда как прочих князей, родственников его, звал попросту *твоя верность*, но начальник православия не проронил слова в защиту православных церквей и монастырей, которые король отдавал иезуитам. «Повага» князя Василия выросла в Польше до такой степени, что нунций Спаноччи в ряду кандидатов на корону Стефана, на первом месте поставил князя Василия, а на втором — его сына Януша, — и могущественный из możновладников довольствовался только удовлетворением фамильной гордости в своем политическом значении.

Современные историки прославляют отца его за тридцать три победы над москалями, волохами и татарами, но молчат про его собственные подвиги, хотя все грамотеи в те времена были присяжными

папскими льстецами. Вместо того, широко распространялись они о его богатстве и не находили лучшей похвалы его величию, как тот факт, что он какому-то высокому сановнику платил 70,000 злотых ⁴ за то, чтоб он два раза в год стоял у него за спиной во время торжественного обеда. Пишут еще, что у него в доме толпилось бесчисленное множество гостей, но не упоминают, какая вера или национальность была здесь наилучше представляема. Толкались у него и монахи афонцы, апостольствовали в его соборищах и иезуиты, находили щедрое гостеприимство и протестанты всех сект, не исключая и арианской. В XVI веке вошло в обычай, сделалось модою и страстью вести религиозные диспуты. Поэтому знатные паны наклоняли ухо ко всякой орации, слушали диспуты, точно концерты; а проповедники старых и новых вероучений стекались к нашему малорусскому магнату, в надежде привлечь его к своей вере. Между тем люди глубокого ума или великого энтузиазма, собираясь в богатом доме для разумной беседы, не находили в самом меценате подготовки для понимания своего выработанного долгим трудом слова, и забавляли его, как ребенка, не научая ничему. У князя Константина II

⁴ Злотый стоил тогда раз в двадцать больше нынешнего.

Острожского можно было видеть и строгие лица немецких реформаторов, которых, за пределами свободной Польши, сжигали на кострах, и рядом с ними повседневные фигуры панских потешников, которые зарабатывали свой насущный хлеб смехотворством. Тут проживали изгнанные папистами ректоры итальянских университетов, и тут же важную роль играл знаменитый Богданко Обжора, который съедал за десятерых, пил, как верблюд, и никогда не напивался допьяна.

Князь Василий, как его называли в Москве и в Турции, пользовался широкою славою своего отца на Руси, но поддерживал ее только тем, что был доступен для каждого ревнителя древнего благочестия и давал его поборникам подачки на печатную прю с его притеснителями. Но и представители других вер находили в нем такую помощь, что одни ревнители католичества посвящали ему свои сочинения, а другие объявляли его, если не схизматиком, то еретиком и даже атеистом. Это потому, что в делах веры и церкви князь Василий беспрестанно переходил из одного лагеря в другой, и никто не знал, которому лагерю он усердствует наиболее. Титулуясь по наследству протектором русской церкви, он в свой славный древним благочестием дом ввел, как мы видели, жену папистку с её католическим почтом, и своего первенца дозволил иезуиту окрестить по обряду

римской церкви; а потом выдал любимую дочь свою, Катерину, за предводителя литовских протестантов, князя Криштофа Радзивила (по-польски Радзивила), прозванного Перуном, когда же он овдовел, немедленно выдал за него и другую дочь, Елизавету. Но, чтобы не оттолкнуть от своего дома православников, сына своего Александра держал он в той вере, от которой не отрекался и сам. Между тем Сигизмунду III, «ярому католику», он угождал так много, что тот князя Януша сделал краковским каштеляном, а князя Александра — волынским воеводою. Сам же князь Василий давно уже был воеводою киевским и маршалом Земли Волынской. Так все три религиозные партии, сохранявшие в Польше политическое равновесие свое, считали князя Василия принадлежащим к своему лагерю, и каждая должна была заискивать его благосклонности, боясь перевеса стороны враждебной. Как он старался, чтоб его все называли протектором русской церкви в Польше, показывает нам хвала его имени, которую монахи и попы разносили всюду, от Острога до Киева, от Киева до Москвы, от Москвы до Царьграда и Афона. А как он был неспособен к своей величавой роли, это мы видим из того, что он, представляя из себя непоколебимого православника, держался за полу литовских протестантов.

Когда с новой христианской науки сошла первая пена, многие последователи Лютера и Кальвина увидели, что, уничтожая древние обычаи и святилища, не распространяли они в народе реформированного христианства, а делали из этого народа только языческую толпу перед покинутыми христианскими храмами. Ученые и наблюдательные нововерцы, такие как Радивил Черный, пришли к тому убеждению, что народ наш можно вывести на добрый путь лишь улучшением его нравственности посредством научных знаний. Радивил Черный первый из литво-русичей основал у себя типографию, и в 1563 году напечатал первый польский перевод Библии. Он первый начал заводить в своих городах и селах школы, а дом свой сделал подобием академии, составленной из ученых поляков, «Руснаков» и чужеземных выходцев. Князь Василий тем же порядком заводит у себя, в городе Остроге, школу, типографию, дает в своем доме пристанище греко-славянским библистам и печатает Библию церковнославянскую. «Оттого, что у нас нет наук, великое грубиянство в наших духовных умножилось», пишет он с голоса протестантов, и приближенные к нему люди, вместо того, чтобы поддерживать русское православие, каково бы оно ни было тогда в нашем обществе, поддерживают в мещанских муниципиях дух протестантский.

Мещанские муниципии появились у нас в Южной Руси под руководством немцев. Бытовой механизм этих мещанских республик выработался по общинному праву города Магдебурга. Но, до появления в Польше иезуитов, муниципальное немецкое право действовало в Малороссии вяло. Мало кто и обращался к нему в мещанских республиках. Оживила его и поставила на ноги протестантская проповедь, в борьбе с иезуитскою. Под влиянием германских воспитанников, польско-русских панов, мещанские братства или цехи, заговорили языком магдебургского самоуправления.

Братства и цехи существовали у нас издавна, как союзы ремесленников и купцов в роде немецких брудершафтов. Теперь смешались они с давнишними братствами церковными, и поставили церковные интересы свои под знамя веры. Церковные братства, заботившиеся прежде о поддержке храмов и вспоможении убогих людей по древнему христианскому преданию, вводили теперь у себя церковный самосуд и составляли себе права по образцу немецких муниципальных общин. Мало было уже для них церковного благолепия да милосердия к бедным: по примеру протестантов, они вмешиваются в дела своего духовенства и в управление самой иерархии. Были и прежде такие случаи, что мещане жаловались королю на своих

архиереев за обдиранье попов и притеснение прихожан. Но в те времена они еще мало внимали немцам, которые беспрестанно переселялись в Польшу и в польскую Русь, угрожаемые террором со стороны латинского духовенства, и вносили в польско-русскую среду свой реформационный взгляд на пастырство человеческих душ. Теперь немецкий протестантский образ мыслей распространялся у нас во всех церковных братствах, которые ничем уже не отособлялись от ремесленных цехов и купеческих корпораций.

Насколько малорусская церковь походила своими верованиями и обрядами на римскую, настолько надобно было ждать в ней и реформы, постигшей римскую церковь везде в немецких землях и в самой Польше. Мещане перестали видеть в своем духовенстве руководителей в разумении Священного Писания, перестали верить в благодать рукоположения и смело заявляли опеку церковного братства над рукоположенными.

Такая реформация понятий о церкви выразительнее всего проявилась в Львове, многолюднейшем городе после Вильны, столицы южнорусского протестантства. Под конец XVI столетия, восточные патриархи утратили уже у турок терпимость, которую относительно христиан ввел было среди них мудрый завоеватель

Константинополя, Магомет II. Подкупаясь один под другого, верховные наши первосвященники сами учили мусульман увеличивать все больше и больше наложенную на христианские патриаршества дань. Начали турки теснить их в церковных имуществях и нередко обращали христианские храмы в магометанские мечети. Претерпевая такое поругание, восточные патриархи не могли держать себя так строго относительно подвластных им в церковном управлении народов, как держал себя первосвященник римский. Теснила их нужда; подкупались под них пройдохи; теряли они, в борьбе за свой сан, чувство архипастырского достоинства. Поэтому подписывали бывало подаваемые им от наших церковных братчиков грамоты, не зная даже, что в них написано. И вот, одною из таких покупных грамот предоставили они львовскому братству наблюдение за благочестием и порядком всей русской церкви в Польше, с тем что, если бы и епископ в чем-либо поступал недостойно, то братство должно было смотреть на него, как на врага истины и противиться его распоряжениям. В других патриарших грамотах говорилось прямо, что названное братство на вечные времена не обязано было подчиняться никакому духовенству, — ни митрополичьему, ни владычьему, ни иному духовному начальству, суду и благословию, кроме патриаршей константинопольской кафедры.

За нарушение такой привилегии патриарх посылал нашим архиереям строгие выговоры, похожие на папские breve, и не обинуясь угрожал им отлучением от церкви.

Между тем протестанты так усердно заботились о наших братствах, что снабжали их школы собственными наставниками, а малорусские типографии учеными распорядителями. Отсюда произошло удивительное, но не замеченное нашею историографиею явление: что тогдашняя малорусская полемика выставляла на всенародное негодование имена вельможных панов, совратившихся в католичество, и совершенно игнорировала таких людей, как Радивилы, Ходкевичи, Вишневецкие, Дорогостайские, Немиричи, Пузины и т. д., которые пренебрегли верою православных предков своих и поделались лютеранами, кальвинистами, ариями и другими нововерными сектантами. Протестанты прикрывались в этом деле «повагою» князя Василия и напечатали для нашего употребления столько неортодоксальных книг, что, спустя много лет по смерти престарелого Острожского, с одной стороны митрополит Петр Могила очищал православные церкви от книг, подготовлявших нас к новаторству, а с другой прозелиты римского католичества вырывали такие книги из рук у невежественных малорусских попов.

В самый разгар борьбы православников с церковною униєю, из острожской типографии вышла написанная протестантом от имени «людей древней русской религии» книга «Апокрисис». В этой книге проповедовалось: что «совершеннейший собор не есть судилище состоящее из одних епископов»; что «между мирянами много бывает благочестивых людей, которые одною своею простотою могут делать многое»; что между ними «много бывает ученых, которые гораздо умнее епископов»; что «простому мирянину и без посвященных, лишь бы только он знал Писание, надобно больше верить в поучениях, нежели самому папе», и тому подобное.

Предводители малорусского протестантства, соединенные с князем Василием узами дружбы и родства, видели, может быть, в нем нового Фридриха Саксонского, который, не выступая открыто за реформацию, от всего сердца покровительствовал учению Лютера. Но политический и церковный эквилибрист, князь Василий, обманул их надежды, так точно как и надежды православников.

Еще в 1577 году, ему, как высшему авторитету малорусской веры, посвятил иезуит Скарга книгу, которая доказывает: будто греки отступили от единства Божией церкви; будто русская церковь, подначальная восточным

патриархам, не имеет будущности, и будто перед нею один только путь — соединиться с церковью римскою. С того времени иезуиты не переставали долбить мертвый ум так называемого Начальника Русского Православия, как водяная капля долбит камень, и, подобно протестантам, окружали князя Василия своими людьми.

В числе избранных особ, с которыми князь Василий беседовал наедине, были два агента иезуитской факции, Кирилл Терлецкий и Ипатий Потей. Каждый из них происходил из знатного панского дома, и оба считались «головами не малыми» среди православников. Терлецкий был сперва протопопом в Пинске, а с 1585 года, по протекции князя Василия, король сделал его владыкою луцким и острожским; а Потей, будучи родственником князю по жене, получил место брестского каштеляна, а в 1593 году сделали его Владимирским владыкою. Они пользовались свободным доступом к «верховному хранителю и защитнику православной церкви», как величали князя Василия духовные панегиристы, и при всяком удобном случае преподавали ему, точно катехизис, те мысли, которые иезуит Скарга высказал в посвященной ему книге.

Могущественный князь не оспаривал того, что церковная уния дело спасительное, а собеседники распространяли благосклонные слова его в

обществе и настраивали общественное мнение так, как того желали католические клерикалы. Но, зная, как зыбок Начальник Русского Православия в своих намерениях, и видя его тесную дружбу с протестантами, не смели открывать ему всех своих замыслов, а вели дело так, чтобы поставить его в невозможность противодействовать им. Король Сигизмунд III поощрял тайком обоих епископов своими милостями и обеспечивал своею властью. В заговоре с ними был и киевский митрополит Михаил Рогоза, воспитанный в иезуитской школе высших наук и приготовленный к предстоявшей ему роли заблаговременно. Но этот не высказывался вовсе, и держал себя неопределенно между папистами и православными, как и сам князь Василий. Прочих малорусских архиереев приготовляли иезуиты к отступничеству обещанием королевских пожалований. Но православных иерархов, сравнительно с католическими убогих, не столько прельщали бенефиции и даже обещанное им заседание в «сенаторской лавице», как то, что соединение с католиками под верховною властью римского папы освободит их от вмешательства в духовные дела светских панов, которые, в качестве патронов, держали высшее духовенство, как и низшее, в полной от себя зависимости и, вписываясь в братства под именем старших братчиков, передавали письменно свой авторитет

братчикам младшим, а младшие братчики, будучи торгашами, чеботарями, воскобойниками и т. п., верховодили в церковной иерархии на основании купленных у константинопольского патриарха грамот.

Терлецкий и Потей не раз писали к князю Василию, советуясь, как бы великое и спасительное дело церковной унии довести до конца без особенной тревоги в обществе, наконец повернули круто, и в 1595 году, получив от короля субсидию, отправились в Рим просить папу от имени «всех христиан» простереть свое главенство и на Русь. Этот поступок оскорбил князя Василия смертельно.

Возненавидев унию, которую до сих пор лелеял, как практик-эквilibрист, он отправил посла на протестантский съезд в Торне, и в инструкции послу написал такие угрозы королю и католической шляхте, как будто готовился идти на них войною. Инструкция каким-то случаем очутилась в руках у короля. Вельможный защитник православия испугался своей смелости, и дал королевской партии тем легче довести дело церковной унии до конца.

В октябре 1596 года, в городе Бересте, или Бресте, который в Москве называли Литовскою Брестью, собрался синод из представителей греческой и римской веры.

Много было говору и крику между

православниками и в самом Бересте, и по всей польской Руси. Думали, что князь Василий, обладавший миллионами наличных денег, являвшийся на варшавский сейм с артиллериею и многочисленным войском, имевший возможность призвать к оружию десятки тысяч своих подданных и вассалов, думали, что он и совершит в самом деле что-то чрезвычайное на защиту веры знаменитых предков своих. Но «верховный хранитель и защитник православной церкви» не в силах был оборонить даже берестовских попов и мещан, которые, в уповании на его могущество, выступили против королевской партии с такими смелыми речами, что их посажали в тюрьму и объявили банитами. Еще больше посрамил себя «святопамятный» тем, что, пригласив на собор протопотария константинопольского патриаршего престола, Никифора, допустил противной партии сделать из него турецкого шпиона и посадить в мариенбургскую крепость, где он и скончался. Титул протектора русской церкви носил Острожский из одной панской гордости да для острастки своих политических противников. Но, когда они показали, что не боятся той Руси, которую он якобы представлял в своей особе, тогда он сделался настолько смиренным и бессильным, насколько прежде казался гордым и могущественным. Борясь до упадка с

утвержденною уже и обнародованною королем униєю, львовские мещане спрашивали у него, что же им наконец делать? И князь Василий отписал им: «Терпеть, терпеть и терпеть».

Так исчезла надежда православников на поддержку со стороны дома Острожских.

Так низко пало знаменитое начальство этого древнего княжеского рода над нашею церковью. Спустя десятилетие по обнародовании церковной унии, в числе православных панов не осталось ни одного Острожского. С другой стороны, протестантское движение ознаменовало себя у нас только тем, что испуганные церковными братствами иерархи должны были искать у римского папы защиты от грубого вмешательства мещан в церковные дела. Между тем наши паны, сделавшись протестантами, перестали быть в глазах русского народа Русью, так точно, как и те, которые совратились в католичество. Озлобленное папистами духовенство стало указывать на отступников, как на своих гонителей, и безразлично называло ляхами всех исполнителей правительственных распоряжений, так что слова лях и пан сделались у нас на Руси синонимами ⁵.

⁵ В тогдашнем языке слово лях означало у нас русина, отпавшего от православия; исконных же католиков называли мы поляками. Поэтому и в современной московской

Земские послы, законодательствовавшие вместе с королевскими сенаторами на дворянских сеймах или вечах; земские и замковые судьи, охранявшие общественное право; коронные ополчения, набранные свободно не только в католическом, но и в православном населении Польши для отражения татар и турок, для войны со шведами и Москвою, все это были у нас ляхи. С другой стороны, раздраженные русскою закоренелостью проповедники более человеческой, как они думали, веры прозвали православие религиею волчьею, и потешали себя выходками против неё школьников своих. Но клерикальное деление наших предков на ляхов и русинов не осталось достоянием одного келейного фанатизма. Из уст поповских оно перешло в сердца мирян, и повело к таким комбинациям, в силу которых задача религиозного единения Польши должна была разрешиться её социальным раздвоением.

Под влиянием иезуитски религиозно проповедуемого единства, идея русской народности до того была наконец подавлена в Малороссии, что уже князь Василий, отправляя сына в заграничное путешествие, напутствовал его словами: «Помни,

письменности встречаем поставленные рядом слова ляхи и поляки, как названия не однозначашие.

что ты поляк». При его наследниках, на Днепре и Днестре водворилась Польша, или то, что народ называл Ляхвою, и вскоре иезуиты раскинули свои преобразовательные училища от Полотска до Переяслава, от Ярослава Галицкого до Новагорода Северского. Ни наука, ни литература, ни высшее общежитие, ни даже богатство не представляли в себе русского элемента. Он держался только там, где, по невежеству, не умели говорить и писать по-польски, или где церковная обрядность не допускала польщизны и латыни. Но именно этим отособлением господствующей части малоруссов от подчиненной, которое составляло главную заботу иезуитской педагогики, правительство Речи Посполитой Польской выдвинуло на сцену действия те силы, которые обратили в ничто и темные интриги Римской курии в Польше, и подвиги не причастных к ним, представителей польской народности в Малороссии.

Глава II

**Польские мещане и польская шляхта. —
Земледелие и городская промышленность. —
Польско-русские крестьяне. — Столкновение
европейского хозяйства с азиатским. —
Малорусские крестьяне в новых колониях. —**

**Соперничества между мещанами и шляхтою. —
Колонизация малорусских пустынь. —
Украинные города. — Зарождение казачества. —
Вражда казаков к мещанам и к панскому
правительству. — Мысль об уничтожении
казачества.**

В то время, когда иезуиты трудились над созданием единой веры и единой национальности в составе польского дворянства, это дворянство обратило свою хозяйственную деятельность на извлечение доходов из роскошных пустынь малорусского края, не тронутых плугом со времен татарского лихолетья.

Экономическая сторона польско-русской истории сама по себе интересна. В связи с событиями, к которым привела польских и наших малорусских панов хозяйственная деятельность, интерес её делается трагическим.

Коренная или старая Польша ⁶ делилась весьма выразительно на городскую и сельскую. Городская принадлежала почти исключительно выходцам из других, более цивилизованных или

⁶ По её образу и подобию сформировалась Новая Польша, как называли современные польские политики нашу Малороссию.

более беспокойных стран. Сельская составляла почти исключительную собственность туземцев. По наследственным рыцарским понятиям, для шляхтича было унижительно заниматься мещанскими промыслами и торговлею. Только война да земледелие были ему приличны. С другой стороны, польский мужик был так прост и патриархален, что в городском быту не мог выдерживать соперничества с пришельцами. Остальное состояние обоих этих сословий, сравнительно с обитателями европейского Запада и Юга, соединяло нравственные и вещественные силы их в нераздельную, вольную и невольную предприимчивость. Пан, в качестве землевладельца, должен был увеличивать рабочие средства мужика. Мужик в качестве зверолова и номада, интересовался привольем и обширностью панских угодий. Свидетельством взаимного согласия этих двух состояний, или естественного сродства их до времен Ягайла, служит нам необыкновенно густое население Краковской, Сендомирской, Мазовецкой, Великопольской и Малопольской земель, почти не увеличивших количества своих сил с XII и XIII столетий до XVIII-го.

Это согласие, имевшее, конечно, свои печальные исключения, начало нарушаться разными обстоятельствами, вытекавшими из той личной свободы, которой искони домогались,

которую всего больше дорожила и гордилась польская шляхта. Оттягав у своих государей существенную часть древнего княжеского права (*jus ducale*), но не развив общественности в соответственной степени, сарматские землевладельцы не умели водворить мир и порядок в своем привилегированном сословии, делали взаимные захваты земли, полевых урожаев и всякого иного имущества, а съезжаясь на свои сеймы, или веча, превращали их в такие побоища, какими отличалось вечевое время наших удельных князей и их дружинников. Отсюда у «низшей шляхты», или мелких дворян, возник обычай «отдавать себя под панский щит», то есть собираться вокруг воинственного землевладельца и общими силами домогаться боевого правосудия, а у людей побогаче или позавзятее — выставлять свой щитовой герб, называвшийся *проклямою*, иначе *завывом*, и обязывавший всех родных и всех принявших тот же герб в знак союза, или «клеяничества», являться на клич своего предводителя. Обычай этот имел то практическое значение, что воинственные и предприимчивые шляхтичи, с помощью своих вассалов, увеличивали наследственные имения свои или фактическим захватом, или перевесом вооруженной силы на судебном вече. Наконец, и безо всяких неправд, люди с характером гордым должны были

заботиться о крупности своего землевладения и увеличении доходов своих для того, чтобы не сделаться игралищем заgreбистого соседа. Имения и доходы увеличивались, как исходатайствованием у короля пожалований и особых привилегий, так и покупкою земли у мелких владельцев, которые предпочитали продать свои ланы и леса одному шляхетному «дуке», нежели видеть их присвоенными другим.

Так, в отдаленные времена, было положено начало польскому *можновладству*, или вельможеству, которое, в видах сохранения между панами политического равновесия, образовало в Польше несколько десятков удельных княжеств, под названием панских добр, ключей, волостей, и поделило шляхту на несколько вассалствующих партий. По свидетельству Длугоша, уже в XII веке было в Польше семьдесят таких панских домов, которые «поднимали щит» от собственного имени и, пренебрегая, в сознании силы своей, именем шляхтичей, называли себя панами.

Перевес на ту или другую сторону боевой силы и достатков борющихся землевладельцев побуждал крестьян перебежать к тому пану, у которого было им побезопаснее и попривольнее. Так как было бы напрасно требовать от соседей, чтоб они не принимали к себе перебежчиков, то шляхта уже в конце XIV столетия пришла к

необходимости налечь законодательными правами своими на крестьян, и добилаь того, что вольным до тех пор *кметям* было запрещено переходить с места на место. В польских займищах происходило таким образом нечто подобное верхнему и нижнему течению воздуха. Требования жизни и быта велели крупным землевладельцам расширять свои имущества на счет мелких, и те же требования побуждали крестьян из имений мелких стремиться туда, где было попривольнее.

Подобное же движение происходило в Польше и относительно соседних племен.

Смешанное население Немецкой Империи, томимое феодальными смутами и сознававшее превосходство в промыслах над отсталым поляком, постоянно выселялось в полудикую Сарматию, как в старину сравнительно тихую и обещавшую больше прибыли. Здесь, как и в дотатарской Малороссии, хлопотали издавна о заселении городов немецкими выходцами, и представляли немцам (как называли и немецких славян) сохранять законы и обычаи родного их края. Но сельское население смотрело на пришельцев, как на людей нечестивых. В праздничные дни немцы устраивали у церквей торги с кабаками, музыкой, песнями, которые нарушали чин богослужения и отвлекали молодежь от молитвы. При этом ремесленные цехи, всегда враждебные друг другу,

заводили обыкновенно драки, в которые вмешивали и подпоенных мужиков. Если же после драк запивали мировую, то общее согласие цехов было еще вреднее для сельских жителей, чем их раздоры. Пользуясь коммерческой организацией своею, мещанские цехи устанавливали произвольные цены привозимым на рынки товарам. Напрасно местные воеводы и старосты публиковали собственный тариф; оборона от немецких торгашей была не по силам для отсталых в культурном проиждошестве поселян.

Чувство отвращения сельской Польши к городской увеличивало еще распущенность семейного и общественного быта, не виданная ни в панских домах, ни в селах. Было известно, что немцы, независимо от церковных браков, заключали новые браки посредством обливанья, то есть попойки, и что этим способом держали по нескольку жен. Было также известно, что городские цехи, называвшиеся братствами, собирались в свои частные заседания не для разбора дел, а для безобразного бражничанья, которое называлось *Bruderbier*. При этом, как и во время ремесленных работ, немцы одевались в такие короткие и странные одежды, что даже смотреть на них считалось непристойностью. Празднуемый же немцами понедельник отличался крайним буйством и распутством, точно языческая вакханалия.

Все это было возмутительно уже само по себе, как для помещиков, так и для степенных крестьян. Но города, наполненные и организованные немцами, досаждали полякам еще больше тем, что заманивали к себе на заработки сельскую молодежь обоих полов, которая, заразившись привычками разгульной жизни, норовила оставить сельский быт навсегда. Каждый дурной член сельского общества, совершая свои проказы, имел в виду укывательство среди мещан, под их одеждой, делавшей беглеца неузнаваемым. А хотя бы перебежчик и был узнан в городе, то польские немцы имели обычай не выдавать пришельца; в случае же крайности, спроваживали его в другой город и даже за границу. По мере того, как заграничные города извергали из себя все им ненужное, тягостное или вредное в сельскую Славянщину (ибо не лучшие, а можно сказать, одни худшие немцы переселялись в Польшу), они из сельской Славянщины привлекали молодых людей, поставленных в необходимость работать им за кусок хлеба, то в виде бесприютных бродяг, то в виде ремесленных учеников. Кроме того, перед началом каждой жатвы, заграничные немцы, чрез посредство польских граждан, вербовали в Польше сельских работников, и подрывали таким образом сельское хозяйство польское.

Убыль рабочей силы от соседства

полунемецких городов и от вербовки крестьян для заграничных заработков заставляла землевладельцев принимать противодейственные меры. На шляхетских съездах выработался наконец закон, позволявший отлучаться в города и за границу только тем членам крестьянских семейств, которые составляли в них как бы излишек. Положение сельского мужика затруднялось, но затруднялось в соразмерности с тем, как нарушал он обязательства своего подданства, первоначально добровольного. За невозможностью в том веке принять меры более человечные, одно зло нейтрализовалось другим. Оба, соединенные нуждой, сословия искали выхода из местных обстоятельств, и каждое находило его в том, что зависело от него.

Недовольный паном мужик бежал к его соседу, или в городские цехи. Обманутый мужиком пан ограждал свое хозяйство строгими мерами закона.

Когда экономические дела находились в таком натянутом положении, оба хозяйственные класса, эти, можно сказать, две руки одного и того же промышленного тела, напали на такой из него выход, который обещал им восстановление согласия, нарушенного соблазнами грубой свободы. Этим выходом было заселение малорусских пустынь, открывшихся перед нами после

соединения Литвы с Польшею, или гражданской унии, совершившейся в Люблине 1569 года. Но здесь и паны и их подданные встречали новые препятствия к экономическому благоденствию.

Землевладельцам Польской короны в её соединении с Великим Княжеством Литовским открылся простор для сбыта сельских произведений в порте Балтийского моря и для устройства землевладельческих хозяйств на обширных пространствах, бывших до тех пор ареною пограничных наездов и сшибок с литовскою Русью. В бедственную для Польши эпоху, когда Литва была еще свирепой язычницей, поляки, содействуя распространению христианства и желая развить силы хищных соседей, уступили свое балтийское поморье тевтонским рыцарям, как воинам Св. Креста.

Тевтоны, или Крыжаки, отплатили за это полякам войнами, заставившими их искать союза с той же, уже полуправославною Литвою. Результатом соединения двух племен в одно государство было подчинение Крыжаков польскому владычеству и открытие свободного доступа водою в Балтийское море. Это море, почти не нужное Польше во времена оны, теперь, с развитием её экономического быта, вернулось к ней, словно доходное имение после убогих в своем невежестве предков. Панские добра, облегченные от

общественных тягостей привилегиями, стали приносить неслыханные до тех пор доходы. Громадные состояния вырастали при одних и тех же рабочих силах, а избыток денежных средств дал новое движение экономической предприимчивости.

Тогда-тогодились польским панам нетронутые плугом пустыни соседней Литвы, вернее сказать — Литовской Руси, сделавшейся Русью Польскою.

Но не вдруг оправдались надежды польских экономистов. Турки давно уже грозили Европе завоеванием, и это требовало от неё чрезвычайных усилий самосохранения.

Как передовой пост европейской культуры, Польша больше других стран подвергалась опасности. Уже сын Ягайла, Владислав III, пал в бою с Алуратом II под Варною (1444).

При его преемнике, Казимире IV, подвластные турецкому султану крымцы уничтожили на Черном море принадлежавший Польше, чрез посредство литовской Руси, порт Кочубей (ныне Одесса), который, во времена существования Византийской империи, снабжал Царьград и греческие острова подольскою пшеницею. Литворусские займища в устьях Днепра и Днестра сделались турко-татарскими. В 1482 году хан Менгли-Гирей сжег и заповил пограничный польско-литовский город, столицу дотатарской

Руси, Киев. Через десять лет отстроен крымцами, по распоряжению турок, Очаков, стоящий на польско-русской земле, а потом и Тегиль (в старину, как и ныне, Бендеры), которую литовские государи, в спорах с ханами, называли своею отчиною. Черноморская торговля русским и польским хлебом уступила место татарской торговле русскими и польскими пленниками. Напрасно король Ян Альберт пытался отнять у турок Волошину или Молдавию, которая, будучи ленным владением Польской Короны, закрывала Подолию и Червонную Русь, «как щитом». Войско его, заведенное предательски в так называемые Буковины (непроходимые леса горной Молдавии), было побито до остатка (1498), и открыло туркам, татарам и переменчивым волохам дорогу в Подолию, откуда пожары и полон разлились до самого Львова. Только чрезвычайно морозная зима того года, истребившая десятки тысяч наездников, спасла Польшу от азиатского завоевания.

При таких обстоятельствах подвигаться с хозяйственными займищами к востоку было делом не одного экономического расчета, но и рыцарского геройства. В конце XV и начале XVI столетия татар видали не только на правой, но и на левой стороне Вислы, у Сендомира и Опатова. Небезопасен был от них даже Пацапов, и в самом Кракове не раз бывал переполох от их близости; а в

1578 году Орда окружила было свадебную компанию князя Василия, праздновавшего брак старшей дочери своей с Радивилом Перуном.

В эти времена борьбы с азиатцами за безопасность панского плуга, экономический быт польско-русской республики, называемой Речью Посполитою Польскою, представлял замечательное противоречие между юридическим гнетом чернорабочего, пахарского класса крестьян и фактическим согласием его с органами законодательной власти, землевладельцами. Мы читаем в сеймовых постановлениях драконовские законы о панских подданных, а под теми же годами находим постановления об учреждении новых поветов и новых воеводств в украинной Польше, «по причине сгущения рыцарской людности» на всем пространстве от Карпат до Нарева и от Днестра до Случи. Рыцарская людность, то-есть шляхетчина, на пограничье, выставленная против азиатских добычников, шла не одна: ее сопровождали те самые кмети, крестьяне, или подданные, против которых на шляхетских съездах придумывались все более и более стеснительные меры.

Это движение происходило в силу давления możновладцев на мелкопоместную шляхту, которая, вместе с своими подданными, приходила в упадок по мере того, как землевладельцы крупные,

путем получаемых от короля привилегий, захвата и подкупа, увеличивали имущества свои. Обеднелые, или теснимые шляхтичи, вместо того, чтобы делаться слугами и вассалами собратий своих, хотели в новых займищах, в дешевых приобретениях и на заслуженных у короля, или у магната, пустопорожных местах, доказать справедливость гордой пословицы: «Шляхтич в огороде равен воеводе».

Составляя аванпосты польско-русской колонизации пустынь от Вислы к Днепру, они вели с собой крестьян, лишенных всякой свободы и даже собственности по букве панского законодательства, но вели не насильственно. Эти крестьяне были частью беглецы из соседних имений, рассчитывавшие на пустынность пограничного края, недоступную для сыщиков, но частью и такие подданные, которые смотрели на побеги сельской молодежи и сельских негодяев глазами своего пана. В обоих случаях сближение их с землевладельцем было не только естественное, но и необходимое.

Праздность в новозанятых пустынях показывалась голодом, а недостаток повиновения набегами крымцев, ногайцев и самих волохов, которые с подчинением азиатскому господству сделались для полякоруссов такими же хищниками, как и татары.

Пограничный землевладелец был глава

хозяйственной ассоциации и вместе с тем — предводитель боевой дружины. По существу факта, он был не столько дедич новозаселенного займища, сколько его завоеватель. Посредством выселения шляхты в украинные земли, к старому, или сравнительно старому, краю прирастал новый, основанный на том же начале шляхетской вольности, но без её произвольных и вынужденных обстоятельствами злоупотреблений, — край, обещавший быть настолько лучше старого, насколько колонии всегда бывают лучше метрополий своих. Но турки, стремясь занять славянскую почву Европы, в авангарде своего движения к западу посылали беспощадных опустошителей, татар, которые, зарабатывая свой насущный хлеб грабежом и ясыром, выжигали опустелые села и покинутую разбежавшимися пахарями жатву из любви к дикому простору. Все, что могли предпринять против азиатских набегов мелкие владельцы в своих колониях, оказывалось недостаточным.

Свободолюбивые шляхтичи, бредившие равенством с магнатами, сами были готовы молить вельможных притеснителей о принятии их под свой могущественный щит. Но шляхетские дуки, в свою очередь, страдали от можновладства, которым подавляли низшую шляхту. Изнурясь в борьбе с людьми более сильными, или же искусными в

придворных происках, они искали поприща для своих талантов на окраинах польско-русской республики, в стране, которую молва сравнивала с Индией и Новым Светом.

Они выпрашивали себе у короля пожалование так называемых пустынь, под условием защиты их от азиатцев, а не то — покупали эти пустыни у владельцев бездейственных, или же захватывали по праву сильного; высылали в опасные места осадчих с компаниею вооруженных людей и с огненным боем; иногда являлись лично в виде королевского старосты пограничного городка, например Канева или Черкасс, в виде воеводы такого разоренного города, каким был Киев после 1482 года; и этим способом среди вольной, равноправной шляхты, с её свободными подданными, возникало то же самое можновладство, которое томило шляхту в её стародавних, исконных осадах.

Так как в человеческих делах низшего порядка полезное постоянно преобладает над истинным, а умственное над нравственным, то энергию заселения малорусских пустынь мы должны приписать в меньшей пропорции таким щедрым и милосердым людям, каким был отец князя Василя, а в большей таким, каковы должны были быть потомки домашнего наездника, известного в Польше XIV столетия под характерным прозвищем Кровавого Дьявола из

Венеции. И вообще, едва ли мы ошибемся, если поразительные успехи экономического развития Польши в XV-м и XVI веках будем объяснять себе не столько умственным превосходством культиваторов, сколько их жадностью к захвату чужого имущества, дерзостью силы и талантливостью в делах домашнего разбоя.

Мы знаем например, что современный гетману Острожскому, князю Константину I, киевский воевода, Юрий Монтовтович, поступал с Печерским монастырем не лучше татарского баскака. Мы знаем, что и ставленник тогдашних придворных панов, архимандрит печерский, Вассиан, был не лучше обыкновенного жида арендатора, а добродетельный по своему веку князь Константин I Острожский, при своем всемогущем значении у короля, терпел Монтовтовича на его важном посту и покровительствовал Вассиану, не взирая на вторжение в монастырь одного и церковное обдирательство другого. Совокупность подобных явлений заставляет думать, что тогдашнему экономисту, достигавшему предположенной цели наперекор всем препятствиям, была известна только правда сильного над слабым; что другой правды в экономическом быту тогдашней Малороссии не знали, а если она иногда и встречалась, то не уважали. И вот эта-то грубая первобытная правда

управляла польским и нашим родным плугом в малорусских пустынях. Она вела вперед хозяйство, промыслы, торговлю трудными, непроторенными, опасными путями, и насколько умела пользоваться ею наша сбродная Русь, настолько приняла участия в добыче земледелия, которое было и самым выгодным, и самым общим занятием колонистов.

Видя и зная все эти обстоятельства, надобно согласиться, что можновладство, эта антипатичная нашему веку и опровергнутая политической экономией система землевладения, было в тот век для шляхетского народа единственно возможною хозяйственною системою, которая двигала вперед колонизацию пустынного края, составлявшую необходимость не только для независимой, самодеятельной, талантливой части польско-русского шляхетства, но и для всего составного государства.

Оно привело Речь Посполитую к несчастному концу, превращая украинную шляхту, если не в вассальную, то прямо в служилую силу, и вырабатывая в этой убогой и завзятой шляхте — или преданных магнатам людей, или таких, которые были способны воспользоваться первым случаем, для уничтожения своих вельможных повелителей; но оно исполнило дело свое, защищая столько времени культивированные области и целые государства европейские от разлива

азиатчины.

Как панские вассалы, владевшие сравнительно малыми вотчинами, так и панские «рукодайные слуги», распорядившиеся землями крупных помещиков, несмотря на все постигавшие их бедствия, шли вперед мужественно и неуклонно по трудному пути колонизации малорусских пустынь. Играя смелую роль начальников магнатских аванпостов, они, в свою очередь, окружали себя служилой боевой силою низшего разряда. Врожденное высокомерие этих наместников и официалистов, этих осадчих и губернаторов не уступало панскому.

Их идеал сословной свободы был никак не ниже панского. Гордясь личными подвигами меча и плуга, они так точно рвались на волю и простор в украинные земли, как и те гордые заслугами предков магнаты, которые не хотели уступить первенства королевским избранникам. Воспитанные вне правил и обычаев гражданской соподчиненности, они были готовы свергнуть с себя всякую зависимость от благосклонности и власти людей, предвосхитивших в Речи Посполитой поземельную собственность и высокие дигнитарства. Но впереди у них кочевала Орда, слишком сильная для того, чтоб им было возможно не отдавать себя под панский щит, не идти к панам в рукодайные слуги, не обеспечивать

судьбы своих семейств покровительством человека знатного и могущественного. Напор азиатской дичи консолидировал их с магнатами, наперекор древним преданиям о шляхетском равенстве, нарушенном вельможеством, и люди, бывшие притеснителями мелкопоместной шляхты в одном случае, делались её прибежищем в другом. Так развивалась в «Новой Польше» шляхетчина, заключая в себе задатки революции против Польши старой.

Что касается панских и королевских подданных, то, каково бы ни было их положение в глубине польско-русского края, они не были и не могли быть угнетаемы в новых слободах и хозяйствах среди украинских пустынь. Основывая слободу за чертой старопольской и старорусской оседлости, паны, или их осадчие, прежде всего объявляли, что поселенцы будут пользоваться в ней 10-летнею, 20-летнею, 30-летнею, а местами и 40-летнею волею или слободою ото всех повинностей и платежей. Пока не истекал условленный между панами и их свободными подданными срок, господствующему и подчиненному классам было необходимо сблизиться на таких пунктах взаимной услуги или одолжения, которые, с одной стороны, не допускали суровости землевладельческого панованья, а с другой, не слишком низко нагибали

шею подданного перед его, как называли здесь «пана», добродеем. Неверный обещаниям землевладелец обуздывался тем обстоятельством, что новые осады, воли, слободы (все это синонимы) основывались беспрестанно в соседних имениях; что каждый недовольный мог туда перебежать, а вернуть перебежчика из чужого имения — значило бы то же самое, что взять его в плен путем войны с соседом. Война панов с панами и без того шла беспрестанно за взаимные вторжения в чужие пределы, и она была мерилom уменья землевладельца привязать к себе подданных. От их численности, от их усердия, от совпадения их выгод с выгодами помещика зависел успех не только хозяйства, но и тех вечных драк, которыми сопровождалось определение границ каждого нового займища. Поэтому-то, чем дальше было вглубь малорусских пустынь от центров старой шляхетчины, тем больше изменялся характер помещичьих и крестьянских отношений, тем меньше зависело убожество быта от подчиненности крестьянина воле помещика, тем проще и независимее держал себя подданный в присутствии своего пана.

Разница между внутренними, издавна зажитыми частями государства и его пустынными окраинами увеличивалась еще тем обстоятельством, что из центров польско-русской

оседлости на её окраины выходили не одни беспутные, но и самые порядочные, самые даровитые, энергические представители чернорабочего класса.

Оставшиеся на древнем пепелище, под гнетом хозяйственной рутины, утрачивали даже идею лучшего общественного положения, лучших отношений мужицкой личности к панской; смирялись молчаливо перед суровой судьбой своей; корились безнадежно перед шляхетским произволом, и производили на стороннего наблюдателя самое тягостное впечатление.

Не так было в стране, носившей неопределенное название Украины, стране колонизируемой с северо-запада предприимчивыми хозяевами и угрожаемой с юго-востока чужездными номадами. Здесь панский подданный видал «великого пана» редко. С мелким же землевладельцем сближали его общие для шляхтича и для крестьянина опасности пограничной жизни, а на панских наместников, или слуг, называвшихся в королевщинах, то есть поместных владениях, подвоеводиями и подстаростиями, смотрели почти, как равный на равного и вольный на вольного. От этого малейшая прижимка со стороны официалистов и арендаторов чувствовалась в Украине, или по-польски на *кресах*, сильно. По свидетельству лучшей из местных

летописей, здешний крестьянин, живя в довольстве на просторе панских земель и угодий, не пожалел бы ничего для своего пана, но быстрое обогащение панских клиентов раздражало его. При обширности экономических заведений, разбросанных на больших расстояниях, так называемые великие паны не имели средств регулировать поведение своих рукодажных слуг и арендаторов, которые, вместе с державою или арендою, получали все права поместных и вотчинных владельцев над подданными. Вот почему у малорусского поселянина накипало на сердце множество таких досад и кривд, которые во внутренних, издавна зажитых частях королевства не оставляли по себе никакого злопамятства.

Но каковы бы ни были отношения украинского крестьянина к помещику, или его наместнику, домовитость пограничного быта отражалась на его характере далеко не так резко, как его бездомовность. Татарские набеги, превращавшие обширные пространства заселенной земли в бесплодную пустыню, весьма часто делали здесь человека богатого убогим, семьянистого одиноким, оседлого бродячим, среди наплыва новых и новых поселенцев. Без крова, без семьи и безо всего, чем живет и веселится пахарь, — чужой для всех нетяга, наравне с беспутными гультаями, бродил из одной слободы в другую, ища возврата к

тому быту, из которого вышибла его беспощадная судьба, и с каждым годом утрачивал к нему способность. Наконец попадал он в какой-нибудь пограничный город, смешивался с мещанскою челядью, составлявшею мутный осадок не весьма светлой городской жизни, и увеличивал массу народа бедного, пьяного и готового на самые отчаянные предприятия.

В противоположность украинным селам, в которых властвовали руководители панского плуга, украинские города были седалищем власти королевской. Но они подлежали польскому праву только со стороны замка, иначе грода, который представлял точку опоры сельскохозяйственным колонизаторам края. Со стороны *места* находившегося в распоряжении местичей, или мещан, города наши подчинялись праву немецкому.

Замок, или грод, был резиденциею королевских чиновников, с их вооруженною командою. Он посылал в поле сторожевые разъезды для наблюдения за татарами. Он судил и рядил подзамчан, людей замкового присуду, жителей королевских пригородов, которые доставляли ему съестные припасы и отбывали урочные повинности. Он взимал пошлины, по тогдашнему мыто и промыто ⁷ с привозных и вывозных товаров. В

⁷ Промытом назывался штраф за уклонение от платежа

известные сроки, называвшиеся *рочками*, в нем заседали гродский (уголовный) и земский (гражданский) суды. В нем же собирались и поветовые сеймики для выбора земских послов на центральный сейм.

Совершенно независимо от замкового уряда действовало представительство мещанской муниципии. Главное заведывание городом возлагалось в нем на бургомистра, избиравшегося ежемесячно из годовых рашманов, или райцев, а судебная власть предоставлялась войту и лавникам, избиравшимся на всю жизнь.

Такое самоуправление существовало даже в тех городах и местечках, которые не имели привилегии на магдебургию и находились под ведомством королевского старосты или панского губернатора. Оно было введено у нас немецкими выходцами и составляло противовес праву княжескому (*jus ducale*), иначе польскому (*jus polonicum*).

Захожие в Новую Польшу немцы, как и те, которые водворялись в старой, чрез два-три поколения теряли свою народность и ославянивались, в силу непобедимого господства местного элемента. Но их обычаи в делах торговли,

ремесел и городской жизни, их отношения к соседней шляхте и поселянам оставались те же самые, что и в городах старопольских. Та же самая была здесь и неприязнь между городским и сельским населением, выражавшаяся беспрестанным тяганьем шляхты с мещанами за присвоиваемые взаимно земли и права. То же самое соперничество существовало между городской и сельской промышленностью. Так же точно города всасывали в себя и рабочие силы панских сел, при посредстве своих цехов, шинков и площадных увеселений. Тем же самым порядком и сельские власти, вместе с отцами порядочных семейств, удерживали молодежь свою от бегства в мещанские общины.

Города старой, или Привислянской, Польши были первыми седалищами иноземщины среди северных славян и первыми вольницами, противодейственными интересам сельского плуга. Города Новой, или Придпепровской, Польши, по характеру своего образования, сохранили фамильное сходство с городами старопольскими. Но цеховая вольница украинских городов, пользуясь анархическим состоянием новозаселенных займищ, развивалась в своеобразную форму, преобразовалась в добычное товарищество, разделила мещан на послушных и непослушных, то есть на подчинявшихся повинностям и на таких,

которые, называя себя вольными людьми, примыкали к мещанским муниципиям в виде кочевников; наконец сделалалась известна под общим именем казачества.

Казацкий промысел существовал на Руси со времен Святославовских, принимая по временам характер защиты русской земли от хищников и представляя в себе постоянное домашнее хищничество. Он был у нас в ходу во все эпохи колонизации опустошенного Батыем края, и наконец, в борьбе остатков Руси с остатками Кипчакской Орды, получил название татарское. Казаками у татар назывались воюющие самовольно добычники, терпимые Ордой по невозможности с ними справиться. Слово казак в переводе с татарского значит вор. Это не очень лестное название было присвоено и добычникам русским, занимавшим в русской общественной среде соответственное, более или менее воровское, положение. Насколько Москва, Литва и Ляхва имели общего с ордынским бытом на окраинах своих владений, настолько у них развилось и полуазиатское казачество. Это было скопище людей непокорных никакой власти, ни даже отцовской и материнской, — товарищество беглецов, угрожаемых карою за преступления, или же таких личностей, которые, вследствие разных случайностей, были слишком убоги для жизни

оседлой и слишком строптивой для подчинения себя людям домовитым.

Есть основание думать, что город Черкассы назван по имени первых его осадников *черкас*, называемых ныне черкесами, и что эти осадники, давая у себя приют разбойному сброду туземцев (которых ещё Дитмар знал с этой стороны), распространили под своим именем казачество вверх и вниз по Днепру. Иначе — великоруссы, имевшие собственных казаков, не стали бы называть черкасами казаков днепровских. Они делали это, очевидно, по старой памяти о том времени, когда колонисты черкасы не слились еще с туземцами. По крайней мере в XVI веке, до начала казако-шляхетских усобиц, днепровских и даже днестровских казаков не смешивали в Польше с русским народом, как и прочих кочевников степного междуречья. Врач царя Алексея Михайловича, Самуил Колинис, называет черкас (без сомнения, по московскому преданию) племенем татарским, а древнейшая русская летопись имя *торков* смешивает безразлично с именем черкас. Писавший по-латыни польский историк Сарницкий, передавая молву о братьях Струсях, удостоенных за свою воинственность песнопений, *quae dumae russi vocant* ⁸, в то же

⁸ Которые русские называют думами.

самое время говорит о казаках, как о племени инородном. В качестве посла к мусульмански государям, Сарницкий проезжал не раз места казацких подвигов, дивился казацкой отваге, слушал казацкие рассказы об опасностях добычного промысла на торговом турецком тракте, и однакож написал озадачившие позднейших читателей слова, что казаки исповедуют веру турецкую. Все это вместе заставляет предполагать, что только сильный прилив русского элемента в притоны первобытных днепровских казаков переродил их в русских людей, подобно тому, как исключительно немецкие в начале общины таких городов, как Познань, Гнезно и Краков, переродились в общины польские.

Относительно колонизации малорусских пустынь, казаки играли роль, напоминающую тех поднепровских номадов, которых князя варягоруссы — то прогоняли в глубину безлюдных степей, то вербовали в свои ополчения. Подобно торкам и берендеям, черным клобукам дотатарского периода русской истории, днепровские казаки иногда составляли гарнизоны в королевских пограничных городах, а иногда нанимались в королевские ополчения только на время, заодно с казаками нагайскими и

белогородскими. Самые пределы первоначального их кочевья между рекой Росью и днепровскими порогами совпадают с местами, на которых история находит подобных им номадов до Батыева нашествия. В эти пределы манили к себе казаки все однородное с ними по задаткам жизни со всего польско-литовского края, и отсюда производили свои операции, которые наделали говора в летописных сказаниях, но которых основой была задача дикая — существовать продуктами чужого труда, не заботясь об участи трудящихся.

Пограничные города, всасывавшие в себя все своенравное из сел и дававшие пристанище каждому бродяге из нужды в рабочих руках, извергали из себя, в свою очередь, непригодную для цеховой практики голоту. Эта голота была приневоливаема к правильному труду в цеховых заведениях только голодом да холодом; но когда ее согревало весеннее солнышко, она норовила бежать из общества, сравнительно благоустроенного, и предавалась, до новой зимы и беды, своим независимым промыслам.

Устройство казацкой общины, с её первоначальным делением на сотни и десятки, было не что иное, как подражание общине мещанской, приспособленное к жизни кочевой и добычной. Даже казацкий самосуд был повторением самосуда цехового, или магдебургского. Но городские

беглецы и отверженные, очутясь на свободе от ненавистных им порядков, питали такое же неприязненное чувство к мещанам, каким все вообще казаки были проникнути к тем обществам, из которых они бежали в подобные ватаги.

Днепровские казаки, наравне с татарами, дали себя знать Киеву еще в то время, когда он был удельным владением князей Олельковичей. Их постоянные вторжения в область землевладельческого хозяйства заставили вдову князя Симеона Владимировича Олельковича отказаться от гробовища предков своих, и на плодородные киевские земли выменять у короля Александра Казимировича болотистые окрестности Пинска, Кобрин и Рогачева. Сделавшись, в силу такого обмена, из княжеско-удельного городом королевско-воеводским, Киев, как уже сказано, пал безлюдными развалинами перед Ордой Менгли-Гирея. Но казацкие притоны, Канев и Черкассы, продолжали стоять среди окрестных пустынь, как острова, недоступные для татар по воинственности своих обитателей, не стоившие набега по их убожеству, а, может быть, и потому, что находились в известной связи с ордынскими ватагами. Заселенное новыми искателями счастья, киевское пепелище ограждает себя актом 1499 года от казаков, которые привозили сюда с верху и с низу Днепра на продажу рыбу и предавались,

вместе с мещанскими гультаями, грубому разврату. Казаки славут по всему днепровскому и черноморскому краю прямыми разбойниками. Торговые пути от них не безопасны. Они не дают спуску даже королевским послам. Но, не составляя народа ни в каком смысле и не представляя собой никакого общества и сословия, беспрестанно делятся на закоренелых в номадной жизни добычников и на изменников интересам номадного быта в пользу общества сравнительно культурного, подобно тому, как это делали некогда подненровские торки, берендеи, черные клобуки. Большинство казацкой орды безразлично бросается во все места, где пахнет грабежом без особенной опасности; но некоторая часть казаков, повинувась инстинкту семейности, или нуждаясь в предметах более прочного быта, входит в условия с польскими королями и пограничными магнатами, получает от них подарки сукном, каразиною, кожухами, деньгами, дорожит позволением гнездиться с женами и детьми на королевских займищах, наконец, в виде особенной покорности правительству, принимает от него предводителей, которых называет своими гетманами, и, под их начальством, отпугивает прочь не только Орду, но и номадных казаков, своих прежних товарищей.

Со времен Сигизмунда-Августа (1548–1572), казацкими предводителями у короля были князья и

паны, ушедшие недалеко от казацких воззрений на войну и добычу, и выселившиеся в Украину, то есть на кресы, в виде королевских старост, по невозможности играть видную роль в стране цивилизованной. Впрочем рыцарский век нередко вызывал на мусульманское пограничье Польши знаменитых воинов, которые, в виде религиозного обета, посвящали свою жизнь на борьбу с «врагами св. креста» среди отважных и свирепых берендеев. Этим набожным и суровым воинам была по душе мысль очеловечить безнравственную толпу добычников лучшими правилами жизни и обратить их ремесло на истребление мусульман. В царствование Сигизмунда Августа и Стефана Батория, две-три такие личности промелькнули среди казацких скопищ. Они прибавили к истории крестоносного воинства несколько новых отголосков боевой славы и придали казацкому быту некоторый блеск, подобно яркоцветному плащу, накинутому на лохмотья бродяги, но разбойного характера казачества не переменили. Вскоре воспоминания о таких казаках-дворянах, какие прославили себя под предводительством князя Константина I Острожского, совсем исчезли, и казацкая вольница получила характер номадно демократический.

Казаки основали за Порогами, под именем Сечи, военный форпост, противившийся

многократным нападениям татар и турок. Казаки служили христианским государям, защищая их владения от мусульман, и те же казаки, под предводительством князя Дмитрия Вишневецкого, одно время состояли на службе у турецкого султана; спустя 30 лет, под предводительством банита-магната, Самуила Зборовского, принявшего на себя почетное звание ханского сына, готовы были идти с татарами в Персию, а в промежутке между этими событиями водили на волошское господарство то одного, то другого самозванца, лишь бы пограбить местных жителей одного с ними вероисповедания. Наконец, запорожские добычники начали становиться опасными и для самого короля. На днепровском Низу, в перемежку с рыцарями без страха и упрека, мечтавшими о «вечной славе казацкого имени», появлялись и такие, которые готовы были ниспровергнуть ненавистных им правителей Польского государства, хотя бы даже и посредством цареубийства. Умысел на жизнь Стефана Батория история положительно знает за Самуилом Зборовским, который, гетманя низовцами, втягивал их в кровавую интригу своего дома. Король снял ему с плеч голову, как баниту, дерзко появлявшемуся в публичных местах с ватагою буйных шляхтичей; но прямой целью казни было уничтожение задуманного им переворота. Не щадил Баторий и других казацких вождей. Кроме

претендента на молдавское господарство, известного под именем гетмана Подковы, королевский меч, в то время не напрасно называвшийся длинным, снял головы еще несколькими десяткам подобных ему авантюристов, ссоривших Польшу с турецким султаном в трудное для неё время войны с царем Иваном Грозным. Наконец, Баторий решился прогнать казаков совсем с Днепра, и устроил против них русско-татарскую лигу, — именно: князь Константин II Острожский заключил с крымским ханом договор, чтобы наступить на казаков одновременно и с верху и с низу Днепра. Тогда днепровские казаки бежали к донским. Но домовитейшие из них покорились королевским старостам, с тем чтобы, под их начальством, отбывать сторожевую службу, а во время похода присоединяться к коронному войску.

Стефан Баторий, не давая казакам гнездиться за Порогами, предоставил им городок Терехтемиров, или Трахтомиров, лежащий над Днепром выше Канева, для покрытия доходами с него войсковых нужд, а находившийся в нем монастырь — для содержания казацких инвалидов. Это было сделано на том основании, на каком местечко Межигорье и Межигорский монастырь были приписаны, в числе прочих королевщин, к киевскому замку для содержания его гарнизона. Но дисциплинированные таким способом казаки,

усиленные новым притоком вольницы из украинских городов, стали опять ходить на Низ для разбойного промысла, и в свой притон среди днепровских камышей и плавней, известный под именем Запорожской Сечи, привлекли донских сподвижников своих. Посланного к ним с угрозами королевского дворянина, Глыбоцкого, (по имени Малорусса), утопили в Днепре, и, в свою очередь, стали угрожать королю, в лице пограничных представителей власти его. Когда предводитель послушных правительству городовых казаков, князь Рожинский, схватил десяток запорожцев, обвиняемых в умерщвлении Глыбоцкого, начальник замковой команды, киевский подвоеводий, князь Боровицкий, отказался поместить их в замке, избегая ссоры с низовцами, а представители киевской магдебургии, с своей стороны, отказывались принять убийц королевского посла в магистратскую тюрьму, говоря, что «они и сами не безопасны в своих домах от казаков, яко на Украине».

Баторий вскоре после того умер, и не напрасно сохранилось предание о высказанном им на смертном одре сожалении, что не уничтожил казаков. Лишь только он сошел со сцены действия, казачество приняло размеры небывалые.

В трудное для Речи Посполитой время междуцарствия перед избранием на престол

Сигизмунда III, когда паны спорили между собой в пользу различных искателей польской короны, днепровские добычники разорили Очаков, и открыли перед ними перспективу турецкой войны. Война с Турцией ужасала панскую республику. По словам одного из сеймовых ораторов, первая проигранная битва погубила бы Польшу, тогда как турок выдержал бы и пятнадцать несчастных битв. Но обуздать казаков не было на ту пору никакой возможности. Шляхта разделилась на два лагеря: одни желали возвести на польский престол шведского принца, другие — австрийского.

Эти последние вели уже эрцгерцога Максимилиана с его немецким войском в Краков, и только искусные маневры предводителя шведской партии, коронного гетмана Яна Замойского, спасли Польшу от австрийского господства. В 1588 году произошла под Бычиной решительная битва, в которой Замойский взял Максимилиана в плен и подавил шляхетское междоусобие. Часть новых торков и берендеев, с атаманом своим Голубком, помогала Замойскому в этом важном деле, но прочие низовцы продолжали навлекать на Польшу грозу турецкой войны. Толпы украинских добычников разграбили в Крыму невольничий рынок Козлев, а на Днестре сожгли Течиню, Белгород и еще несколько пограничных турецких колоний. Война с Турцией сделалась неизбежною.

В государственном скарбе не было между тем денег. Хотели сделать заем в Германии, или в Италии; но и там экономические дела были расстроены то католико-протестантскими войнами, то войнами христиан с магометанами. Пока земские послы изыскивали на сейме средства для отражения турок, предвестники турецкого нашествия, татары, вторгнулись в Подолию и в Галицкую Русь, набрали ясыру, и увели в неволю несколько знатных людей, в том числе князя Збаражского с его княгинею. Только потомок воспетых думами братьев Струсей, отстоял окруженную татарами в Баварове сестру коронного гетмана, хотя и пал, изрубленный в куски, почти со всей дружиною своею. Казакам панские бедствия были на руку: они залегли в степи на обремененных добычею татар, вломились ночью в один из их таборов, и награбленное у панов добро сделалось добычею казацкою.

Гроза между тем приближалась. Турки обещали пощадить Польшу только под условием платежа ежегодной дани во сто коней, навьюченных серебром, или же — принятия магометанской веры. Польского посла в Стамбуле называли псом и грозили половину его свиты повесить на железных крючьях, а другую посадить гребцами на галеры.

Коронный гетман, приготовив наскоро к

задержке турецкого вторжения пограничные крепости Львов и Подольский Камянец, на колени умолял сеймовое собрание спасти отечество, и первый приносил в жертву все свое состояние. Назначен был поголовный налог, не исключивший ни духовенства, ни королевских дворян, ни даже людей безземельных. Но воеводства Киевское, Волынское, Подольское и Брацлавское до того были опустошены крупными и мелкими татарскими набегами, что их от поголовного налога освободили совершенно. Страшная опасность миновала, однакож, благодаря интригам султанского сераля, в котором один беглербек подкопался под другого и дал себя купить в пользу мира.

Но мир был заключен под условием уничтожения казаков.

Уничтожить казаков значило — организовать колонизацию украинских пустынь таким образом, чтобы среди народа работающего и торгового не было места людям не признающим никакой власти, кроме присуда своего добычного круга и избранного им предводителя.

Мы видели, что польско-русские пань давно уже прилагали старания, чтобы Украина, или Новая Польша, с одной стороны, не оставалась бесплодною залежью, а с другой, чтоб она заслоняла от азиатцев колонии старинные, то есть старую Казимировскую Польшу. Но то были

политико-экономические меры отдельных личностей, искавших в малорусских пустынях независимости от магнатов, сильных придворными происками. Теперь колонизация этих пустынь, простиравшаяся за черту древних Ярославовских осад по реке Роси и за черту реки Сулы, отделявшей Варяжскую Русь от земли Половецкой, сделалась предприятием польского правительства, и соединилась в одно дело с обузданием казацкого своевольтва, называвшегося официально своевольтвом украинским (swawola ukrainska) в том смысле, что казаки составляли только часть того «розгардиаша», который царствовал на кресах или юго-восточных окраинах польских владений. Вследствие решения варшавского сейма 1590 года обнародованы были Сигизмундом III два постановления, которые могли бы спасти Польшу от рокового разъединения нашего с Русью, когда бы Польша не была разъединена сама в себе доведенною до крайности шляхетскою свободою.

Первое из этих постановлений гласило следующее:

«Государственные сословия обратили наше внимание на то обстоятельство, что ни государство, ни частные лица не извлекают никаких доходов из обширных лежащих впусте наших владений на украинском пограничье за Белою Церквою. Дабы тамошние земли не оставались пустыми и

приносили какую-нибудь пользу, мы, на основании предоставленного нам всеми сословиями права, будем раздавать эти пустыни, по нашему усмотрению, в вечное владение лицам шляхетского происхождения за их заслуги перед нами и Речью Посполитою».

Второе постановление возлагало на коронного гетмана обязанность — образовать из людей, проживающих в низовьях Днепра и за порогами, или каких-нибудь других, пограничное войско, послушное правительству и подчиненное главному начальству и сотникам из шляхты, имеющей в Украине недвижимую собственность, с тем:

— чтобы это войско ни водою, ни сухим путем в соседние государства не вторгалось;

— чтобы оно проходящих тамошними местами купцов и никаких людей не полонило и не грабило;

— чтобы не только осужденных на смерть или лишенных чести, но и никаких иных людей к себе не принимало;

— чтобы в украинских местечках съестные припасы, порох, селитра и другие надобности продавались только тем низовцам, которые предъявят от своего начальства свидетельства, а без свидетельства чтобы ни одного из них в местечки не пускали;

— чтобы в королевских и панских городах,

местечках и селах были поставлены присяжные бурмистры, войты и ватаманы, которые бы, под смертною казнию, никого не пускали на низ, ни в поле за добычею, а тем паче — за рубеж соседних государств; кто же пришел бы с добычею из других мест, у того бы добычу отнимали, самого добычника карали и покупать добычи никому не позволяли;

— наконец, чтобы пограничные королевские чиновники и паны карали смертью своевольных людей, проживающих в украинских поселениях, или имеющих там какие-либо склады, а равно и тех присяжных урядников, которые бы отважились им потворствовать.

Но правительство сознавало, что «пропустило время» для прекращения «пограничной неурядицы и своевольства», вовлекшего все польско-русское общество в столь опасное положение. Мало того, правительство знало, что даже в личном составе своем, в среде сеймовых представителей малорусской шляхты разных вероисповеданий, оно содержит не только казацких потаковников, делящихся с полудикими наездниками их добычею, но и казацких пособников, предпринимавших вторжения в турецкие области совместно с так называемыми низовцами.

Еще Стефан Баторий упрекал пограничных панов старост в том, что они действовали заодно с

низовыми добычниками, давали их атаманам у себя пристанище в таких городах, как Немиров и Киев, помогали им людьми и снарядами для походов, навлекавших на окраины государства опустошительные татарские набеги. Сигизмунд III, в заключение своего декрета, счел необходимым грозить карою *de gverris* тем панам, князьям, старостам, державцам и шляхте, которые бы осмелились ходить в поле мимо ведома коронного гетмана, наезжать на соседние государства; или прятать у себя казацкую добычу. До такой степени добычный быт преобладал тогда в Украине над хозяйственным. До такой степени паны-колонизаторы дичали в удалении от центральной гражданственности и оказывались в исключительных видах личной выгоды. Задача уничтожения казаков была задачей перебора шляхетского общества и подавления в нем разбойных элементов. Лучшие люди должны были вооружиться силою обычая, закона и меча против худших, разумное меньшинство — против неразмышляющего большинства, строители государства — против разрушителей.

С своей стороны казаки видели, что панское господство над пограничниками держится людьми бездомовными, так называемыми панскими «слугами», то есть обедневшею шляхтою, которая не с добра делалась магнатскими осадчими,